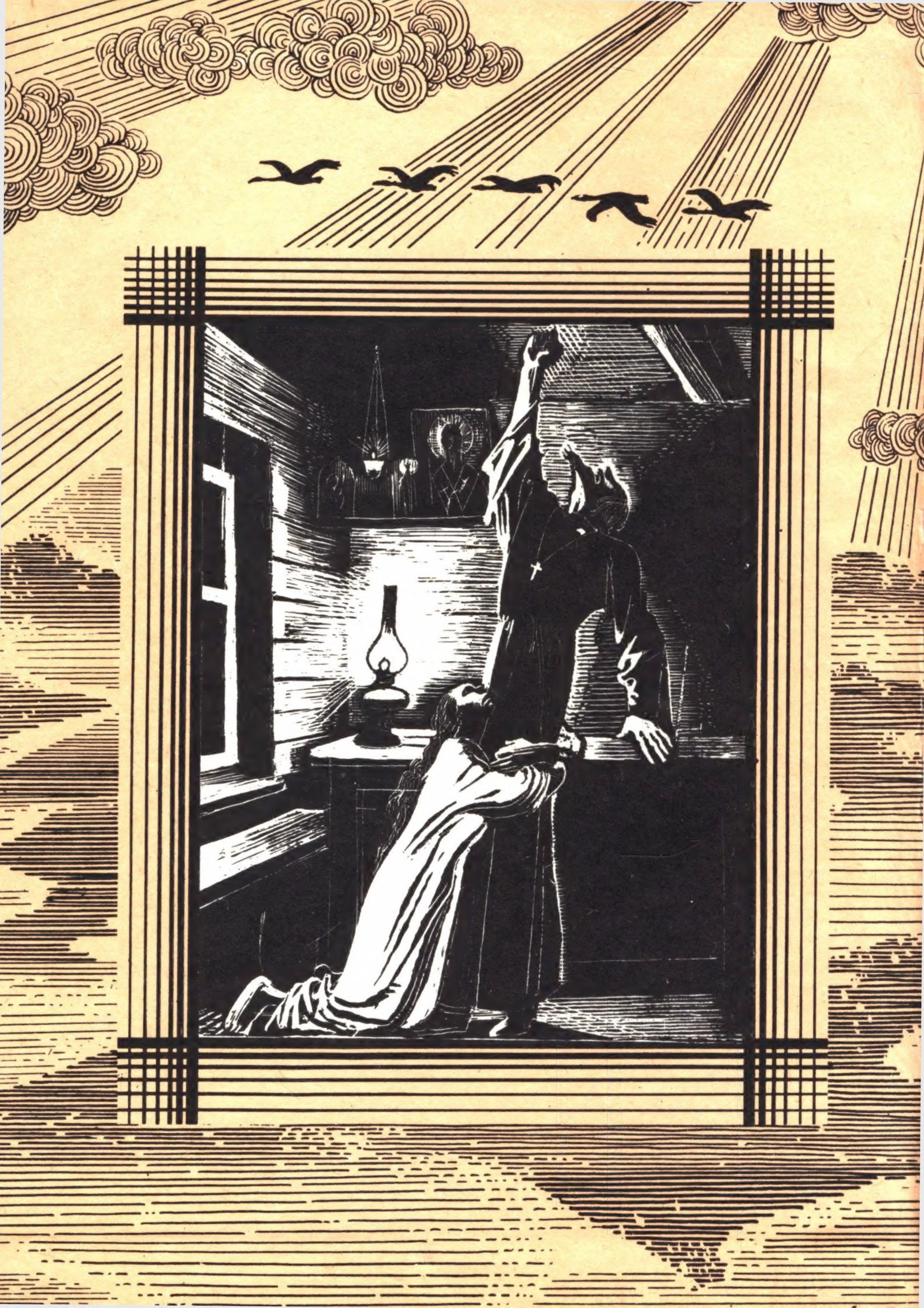
ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ИЗБРАННОЕ











ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

ИЗБРАННОЕ

Горький
Волго-Вятское
книжное издательство
1984

ББК84Р1
А65

Печатается по изданию:
Андреев Леонид. Повести и рассказы в двух томах.— М.: Художественная литература, 1971.

Текст предисловия печатается по изданию:
Андреев Леонид. Рассказы и повести.— М., Недра, 1980.

Серийное оформление художника **А. И. Алешина**

Заставки и рисунки на переплете, форзацах художника **А. Г. Слепкова**

Андреев Л. Н.

А65 Избранное/[Автор предисловия В. Чуваков].— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1984.— 320 с.— (Волжские просторы).

1 р. 90 к.

В сборник избранных произведений известного русского писателя вошли его рассказы, написанные в 1898—1908 гг.

А $\frac{4702010100-060}{М140(03)-84}$ 00—83 ББК84Р1

О РАССКАЗАХ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Творчество Леонида Николаевича Андреева (1871—1919), так волновавшее современников, служившее предметом острой полемики и породившее обширную критическую литературу, несомненно должно быть отнесено к числу наиболее сложных и противоречивых явлений в истории русской культуры конца XIX— начала XX века. Писатель большого таланта, оригинальный художник со своим «романтико-трагическим» видением мира — Леонид Андреев в яркой и своеобразной форме запечатлел некоторые из существенных черт переломной исторической эпохи глубокого кризиса капитализма и периода назревавших пролетарских революций.

Леонид Андреев оставил богатое и разнообразное художественное наследие, заслуживающее самого серьезного и вдумчивого изучения. Даровитый фельетонист и автор тонких психологических новелл, созданных преимущественно в ранний период творчества, Л. Андреев был также одним из ведущих драматургов своего времени. Он создавал многоплановые философские трагедии, писал бытовые пьесы и мелодрамы, сочинял озорные сатирические миниатюры. Пьесы Л. Андреева с крупным успехом шли на лучших сценах России — в Александринском петербургском и Московском Художественном театрах.

Однако круг творческих интересов Леонида Андреева распространялся не только на литературу и театр. Так, на заре кинематографа он раньше других разглядел возможности этого тогда только зарождавшегося вида искусства и был одним из первых теоретиков и профессиональных киносценаристов.

Мечтавший о «синтезе» разных видов искусства, Леонид Андреев серьезно интересовался живописью. И хотя он не получил профессионального художественного образования, его картины экспонировались на выставках наряду с работами мастеров, воспроизводились в иллюстрированных журналах. О портретах, выполненных Л. Андреевым, и о его красочных полотнах на сюжеты собственных художественных произведений одобрительно отзывались И. Е. Репин и Н. К. Рерих. Большое место в произведениях писателя отведено музыке. Она не только используется им для «музыкальной» характеристики персонажей и изображаемой среды (рассказы «Марсельеза», «Вор», студенческие песни в «Днях нашей жизни»). Порой она пронизывает все произведение и становится важным элементом его композиции (драма «Жизнь человека»). Своеобразный «музыкальный» подтекст трагедии «Анатэма» и авторская характеристика центрального персонажа — этого Мефистофеля XX века — находятся в прямой связи с «впечатлениями» писателя от концертов Ф. И. Шаляпина и его оперного репертуара.

Разнообразная одаренность Андреева проявилась и в его письмах к современникам. Сохранилась переписка его с писателями, деятелями искусств, издателями, наконец,— родными и близкими. Органически сливаясь с художественным творчеством Л. Андреева, собранные воедино, письма представляют собой уникальный дневник — исповедь писателя «о времени и о себе».

В воспоминаниях современников Леонид Андреев предстает великолепным рассказчиком, живым общительным человеком, любителем всяких дружеских розыгрышей и мистификаций. Но этот портрет не полон. М. Горький говорил, что его всегда тревожили смены настроений Леонида Андреева, переходы от бодрости и жизнерадостности к отчаянию и беспросветному пессимизму. Известно, что в юности Л. Андреев предпринял несколько попыток самоубийства. В глубине души Л. Андреева таился ужас перед жизнью с ее уродствами, жестокостью и казавшейся писателю бесцельностью. «Этот ужас,— писал К. И. Чуковский,— чувствуется во всех его книгах, и я думаю, что именно от этого ужаса он спасался, хватаясь за цветную фотографию, граммофоны, живопись. Ему нужно было хоть чем-нибудь загородиться от тошнотворных приливов отчаяния»[1]. Примечательно, что герои наиболее автобиографических и «задушевных» произведений Леонида Андреева находятся в трагическом разноречии с окружающей их действительностью. Они мучительно пытаются разрешить «загадки» человеческого бытия и не могут дать убедительного ответа ни на один из «проклятых вопросов», поставленных перед ними жизнью. Таков сломленный, хотя и не сдавшийся в борьбе с Роком его Человек («Жизнь человека»). Не менее трагичен и выражающий сокровенные мысли Леонида Андреева цирковой клоун Тот, бессильный разрешить конфликт между идеалом и непроглядной правдой действительности (пьеса «Тот, кто получает пощечины»).

Современная Л. Андрееву критика рано обратила внимание на странную противоречивость взглядов писателя. «Леонид Николаевич,— вспоминал М. Горький,— странно и мучительно-резко для себя раскалывался надвое: на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна!» и провозглашать ему — «Анафема!». Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии,— нет, в обоих случаях он чувствовал себя одинаково искренне. И чем более громко он возглашал «Осанна!»— тем более сильным эхом раздавалось — «Анафема!»[2].

Отмеченное противоречие было не только проявлением каких-то индивидуальных черт личности писателя. Принадлежа всем складом своего мышления к той части русской интеллигенции, которая в кризисную эпоху напряженно искала выхода из социальных конфликтов действительности, но так и не смогла связать своих вольнолюбивых, демократических устремлений с пролетариатом и его идеологией, Леонид Андреев был обречен на постоянные колебания между «осанной» и «анафемой» жизни, находившимися в прямой зависимости от подъемов и спадов волн русского освободительного движения. Выделявшийся среди писателей-современников особой остротой образно-эмоционального восприятия действи-

---

[1] Чуковский Корней. Из воспоминаний. М., Советский писатель, 1959, с. 263—264.

[2] Горький М. Полн. собр. соч. М., Наука, 1973, т. 16, с. 324.

тельности, он подверг страстной критике буржуазный строй, его мораль и «цивилизацию». Вместе с тем Леониду Андрееву, по существу, всегда оставались чужды идеалы идущего на смену капитализму социалистического общества. И это оборачивалось подлинной трагедией для Л. Андреева — мыслителя и художника, ибо обличение им язв и пороков современного ему буржуазного мира лишалось исторической перспективы. Более того, все темное, злое, отталкивающее, что видел вокруг себя писатель, приобретало в его восприятии грандиозные, «космические» масштабы.

Литературная деятельность Леонида Андреева началась в 90-х годах прошлого века. Закончившему юридический факультет Московского университета молодому помощнику присяжного поверенного, приглашенному в 1897 году на должность репортера судебной хроники в московскую газету «Курьер», не пришлось долгие годы добиваться читательского признания. Уже анонимные отчеты «Из зала суда» обнаруживали в их авторе незаурядное литературное дарование. Л. Андреев сосредоточивался в них на личности обвиняемого, стремился проникнуть в его внутренний мир, понять психологию человека, «переступившего закон». Это было тем более важно для Л. Андреева, что, разделяя взгляды прогрессивных юристов, он искал истоки преступности в неблагоприятных условиях социальной жизни. Судебные отчеты Л. Андреева, с присущей ему «психологизацией» конкретного материала, приближались к жанру очерка. В них, как и в первых рассказах Л. Андреева, ощутима близость с очерковой прозой демократической литературы 1860-х годов. Позже сам Л. Андреев называл в числе своих литературных предшественников писателей-разночинцев Н. Успенского, Н. Помяловского и Ф. Решетникова. Образцом «истинного писателя» был для него Глеб Успенский, живший одной жизнью с его бедной родиной и впитавший «в себя всю ее безмолвную боль и страдания».

Исключая ранние, еще очень незрелые литературные опыты, которые Л. Андреев не любил вспоминать[1], первый же его рассказ, опубликованный за полной подписью 5 апреля 1898 года в «Курьере», очень заинтересовал читателей и привел в восторг М. Горького. Рассказ назывался «Баргамот и Гараська» и по внешним признакам принадлежал к так называемой «праздничной» беллетристике, которую газеты и тонкие журналы «для семейного чтения» предлагали своим подписчикам на пасху и рождество. Как правило, поставщиками подобной беллетристики были второразрядные литераторы, сочинявшие «к случаю» сентиментальные истории о торжестве прописной «добродетели» над пороком. Рассказ Леонида Андреева мог бы и затеряться в ворохе подобной литературы, если бы не некоторые его особенности. С очевидной иронией и недоверием к «факту» автор сообщает читателю о невероятном происшествии: под пасхальный перезвон колоколов примирились блюститель подрядка городовой Баргамот и нарушитель этого порядка бездомный бродяга Гараська. По достоверности обстановки, в которой совершается действие, и по своим изобразительным приемам этот рассказ рождает ассоциации с бытовыми очерками разночинцев-«шестидесятников». Очень живо,

[1] Речь идет о напечатанных в 1892 и 1895—1896 гг. рассказах в петербургском журнале «Звезда» и газете «Орловский вестник».

с юмором в «Баргамоте и Гараське» изображен быт обитателей окраинной Пушкарной слободы в Орле. Будни они проводили в тяжелом, изматывающем труде, а в праздники предавались пьяному разгулу и «гомерической драке». Старожилы Орла могли бы назвать даже реальных прототипов произведения Л. Андреева[1], что, впрочем, не исключает присутствия в рассказе художественного вымысла.

Внезапно в насмешливый и в общем-то по-празничному благодушный тон повествования «Баргамота и Гараськи» врывается резкая, пронзительная нота. Так обнажается второй и главный план рассказа, дотоле скрытый от читателя живописными жанровыми зарисовками.

«— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл»,— рыдает обласканный городовым Гараська. Л. Андреев находит поразительное по емкости и сжатости выражение «существа» образа бунтующего против несправедливости жизни бродяги. Оказывается, лишенный «отчества», отброшенный на дно жизни, Гараська сохранил в душе чувство собственного достоинства. В его бессвязных, выстраданных словах выражена и основная тема последующего творчества Андреева — разоблачение антигуманистической природы буржуазного строя.

Сюжеты и других произведений Леонида Андреева прямо подсказаны действительностью. В 1899 году он пишет «Петьку на даче»— одно из самых проникновенных в русской литературе изображений души ребенка, у которого было украдено детство. Источником для рассказа были воспоминания о детстве однофамильца писателя — Ивана Андреева — владельца парикмахерской, находившейся неподалеку от редакции «Курьера». Сын крепостного крестьянина, Иван Андреев мальчиком был привезен в Москву и отдан в ученики к цирюльнику. Прототип андреевского Петьки рано узнал голод, побои, непосильный труд. Авторское чувство сострадания и гнева, вторгаясь в объективно-реалистический тон повествования, эмоционально преобразует действительность, что проявляется в конце рассказа в экспрессивном выражении отчаяния Петьки и саркастических нотах Андреева при изображении «господ».

В 1898—1899 годах в «Курьере» появляются все новые и новые рассказы Леонида Андреева, в том числе «Большой шлем» и «Ангелочек». Все они находили хороший прием у читателей. Иным даже казалось, что под псевдонимом «Леонид Андреев» скрывается кто-либо из известных писателей — Горький или Чехов. Чтобы рассеять недоумения, «Курьер» однажды даже поместил разъяснение, что «Леонид Андреев»— это не псевдоним.

Задумав выпустить рассказы отдельной книжкой, Л. Андреев вырезал их из газеты и наклеивал в тетрадь. С этим альбомом он и пришел на первую встречу с М. Горьким 12 марта 1900 года. М. Горький тогда направлялся из Нижнего Новгорода через Москву в Крым и назначил Л. Андрееву свидание на Курском вокзале. Из всего написанного после «Баргамота и Гараськи» он особо выделил «Большой шлем» и «Ангелочка».

В этих рассказах Леонид Андреев заметно отходит от первоначальной «очерковой» манеры. Он устраняет длинноты, за которые его упрекал М. Горький, и

[1] Любопытно отметить, что Иваном Акиндиновичем, как и городового Баргамота, звали известного в Орле в 90-е гг. делопроизводителя воинского стола городской управы, бывшего станового пристава И. А. Боброва.

после беседы с А. П. Чеховым (апрель 1899 г.) по поводу своего рассказа «В Сабурове» больше внимания уделяет «технике» письма. Главное же отличие «Большого шлема» и «Ангелочка»— в дальнейшем углублении психологизма повествования. Если первые, тяготевшие к очеркам, рассказы Л. Андреева были случаями из жизни, то теперь его все более занимает роль случайности в жизни. «Словно не люди проходят перед вами, а какие-то типографские знаки. И чтобы глазом увидеть человека, а не формулу, приходится смотреть на то в человеке, что не покрылось еще лаком привычки»— так объясняет сам Л. Андреев свой новый подход к действительности[1]. Во имя глубокой правды изображаемого он все чаще и чаще пренебрегает натуралистическим правдоподобием ради жизнеподобия, а быт, освобожденный от «частностей», все более тяготеет к бытию.

Для своих рассказов Л. Андреев избирает исключительные ситуации. В «Большом шлеме» ею является скоропостижная смерть за карточным столом одного из игроков. С точки зрения бытовой достоверности трудно себе представить, чтобы, продолжительное время три раза в неделю собираясь для игры в карты, выведенные в «Большом шлеме» интеллигентные обыватели ничего не знали определенного о своем внезапно умершем партнере. Однако читатель, захваченный произведением, оставляет без внимания эту несообразность, поскольку такое авторское отступление от бытового правдоподобия имеет своей целью подчеркнуть социальную проблематику рассказа — одиночество, трагическую разобщенность людей. Герои рассказа не замечают, что за пустыми банальными разговорами и мелочным житейским практицизмом они утратили свою личность, превратились в колоду тасуемых игральных карт. Страдания и скорби «дряхлого мира» за окнами гостиной Евпраксии Васильевны, который «то краснел от крови, то обливался стонами больных, голодных и обиженных», они подменили для себя иллюзорным порядком и строгими правилами карточной игры. Но за социальной проблематикой «Большого шлема» проступает и некий опосредованный образ мира и человеческого бытия вообще, не имеющий в рассказе какого-то конкретного содержания. Образ этот создает авторское настроение, вторгающееся в объективный реалистический тон повествования. За спинами реалистических персонажей «Большого шлема» словно появляются невидимые ими, но переживаемые ими еще два героя рассказа — Смерть и Случай. Внезапная смерть Масленникова и то, что он никогда не узнает о своем карточном выигрыше, на какое-то время объединяет и уравнивает интеллигентных мещан в страхе перед таинственными силами, распоряжающимися их судьбой.

Еще большим вторжением в сюжет субъективного авторского начала отмечен в целом реалистический по своей натуре рассказ Леонида Андреева «Ангелочек». По существу, он ничего общего не имеет «с праздничной», «рождественской» беллетристикой. Его сюжет словно развивается в двух параллельных планах. Реалистическое воспроизведение Л. Андреевым конкретных примет «быта» и эмоциональное восприятие автором этого «быта» как бы представляют собой две соприкасающиеся и взаимно связанные реальности. Причем Л. Андрееву ближе вторая реальность, так как она, по мнению писателя, полнее воплощает в себе «сущ-

---

[1] А.-ев. Впечатления.— Курьер, 1900, 22 апреля, № 111.

ность» действительности. Бытовые подробности и детали получают в рассказе расширенное истолкование. Так, восковой ангелочек с рождественской елки — это не просто понравившаяся Сашке игрушка. «Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек». В своей реалистической конкретности Сашка — это верное изображение озлобленного несправедливостью жизни ребенка. С другой стороны, Сашка у Л. Андреева как бы олицетворяет собой забитую, затравленную, ограбленную человеческую душу вообще. Для отца Сашки ангелочек — это напоминание о Прекрасном, убитом и испакощенном прозаической действительностью. Для Сашки ангелочек — напоминание о существовании Прекрасного, к которому неосознанно тянется душа ребенка, тоскуя и страдая. Сашка не знает того, что он похож на ангелочка. И если воспоминания Сашки о товарище-гимназисте, который на коленях в классе вымаливал тройку у учителя, должно быть отнесено к первой реальности, то необычайное потрясение, испытываемое мальчиком при виде ангелочка, и просьбы Сашки на коленях перед барыней подарить ему эту игрушку, очевидно, должны быть отнесены ко второй, «сущностной» реальности. Как, впрочем, и плач над ангелочком Сашки и его отца в финале рассказа. Вторую реальность «Ангелочка» почувствовал А. Блок, отмечавший, что в этом рассказе «звучит нота, роковым образом сблизившая «реалиста» Андреева с «проклятыми» декадентами. Это — нота безумия, непосредственно вытекающая из пошлости, из паучьего затишья. Мало того, это — нота, тянущаяся сквозь всю русскую литературу XIX века, ставшая к концу его только надорванной, пронзительной и потому — слышнее»[1].

В сентябре 1901 года в руководимом М. Горьким петербургском издательстве «Знание» выходит первый том «Рассказов» Л. Андреева. К десяти произведениям, отобранным М. Горьким для книги, вполне применима та характеристика, которую дал себе Л. Андреев в письме К. И. Чуковскому от июля 1902 года: «Верно то, что я философ, хотя большею частью совершенно бессознательный (это бывает); верно, остроумно подмечено и то, что «типичность людей я заменил типичностью положений». Последнее особенно характерно. Быть может, в ущерб художественности, которая непременно требует строгой и живой индивидуализации, я иногда умышленно уклоняюсь от обрисовки их характеров. Мне не важно, кто «он» — герой моих рассказов... ибо все живое имеет одну и ту же душу, все живое страдает одними страданиями и в великом безразличии и равенстве сливается воедино перед грозными силами жизни»[1].

В одном из лучших рассказов Л. Андреева, из включенных в первый том его сочинений,— в «Жили-были» (1901)одинаково страдают от неустройства жизни умирающий купец Кошеверов и молодой студент. Однако в демократически настроенных кругах читателей пессимистические ноты в произведениях Леонида Андрева рождали отнюдь не пессимистические настроения, ибо не за горами был революционный взрыв 1905 года. И хотя в рассказах Леонида Андреева, по выражению М. Горького, преобладало «одно голое настроение», которое следовало бы

---

[1] Блок Александр. Собр. соч. в восьми томах. М.; Л., Гослитиздат, 1962, т. 5, с. 69.

[2] Чуковский Корней. Из воспоминаний, с. 270.

«прихватить огоньком общественности»[1], демократический читатель по-своему воспринимал вторую реальность сочинений Леонида Андреева. Придавливающая его «хилых» героев «роковая сила» в конкретных условиях русского освободительного движения воспринималась как гнет царского самодержавия. Да и сам Л. Андреев был чуток к переменам в окружающей жизни и общественных настроениях. Вновь затронутая им в «Жили-были» проблема жизни и смерти находит в целом оптимистическое разрешение. Смерть купца Кошеверова — это только эпизод в потоке вечно обновляющейся жизни. Примечательно, что Л. Андреев, по совету М. Горького, заканчивает сборник «Рассказов» новеллой «В темную даль». Это первая попытка писателя создать образ героя-современника, порывающего с затхлым миром сытого мещанского существования и вступающего на путь революционной борьбы. Явно отставая от времени и плохо зная жизнь революционеров-профессионалов, Л. Андреев, создавая образ своего Николая Барсукова, в основном опирался на свои представления о революционерах-народовольцах 80-х годов в пору их хождения в народ. Герой рассказа наделен нимбом жертвенности, мученичества за голодных и обездоленных. В дальнейшем образ Барсукова получит у писателя развитие в романе «Сашка Жегулев» (1911). И все же появление таких произведений, как «В темную даль», в творчестве Леонида Андреева в преддверии революции 1905 года было многообещающим и перспективным началом.

В 1903 году Л. Андреев заканчивает большой рассказ «Жизнь Василия Фивейского». Избрав его героем сельского священника, автор был весьма далек от намерения изобразить в рассказе быт сельского духовенства. Шутивший, что «живых» священников он видел всего два раза — на свадьбе и на похоронах, Л. Андреев «типичность людей» в «Жизни Василия Фивейского» в значительной мере заменил «типичностью положений». Автор идет от определенной им заранее «сущности» образа к «быту», который, в свою очередь, дается им не в своей объективной полноте и целостности, а составлен из отдельных, тщательно отобранных черт. Не остается сомнения в том, что Л. Андреева менее всего интересовал сельский священник Василий Фивейский как социальный тип. Для писателя это была наиболее подходящая модель для реализации творческого замысла произведения — показать трагедию человека, утратившего старую веру, но так и не обретшего новую, истинную. По существу, и в «Жизни Василия Фивейского» Леонидом Андреевым в несколько мистифицированной форме изображена трагедия мысли российского интеллигента, ищущего путей к народу. В то время, когда брожение охватывало все более широкие слои населения России, когда за тысячами «разрозненных, враждебных правд» о жизни начинали проступать «очертания одной великой, всеразрешающей правды»— правды грядущей Революции, рассказ Леонида Андреева приобретал злободневное общественное звучание. «Большая и глубокая вещь» — так отозвался о «Жизни Василия Фивейского» М. Горький[2]. Мрак сознания, не оплодотворенного мыслью, а потому лишенного интеллекта, воплощен Л. Андреевым в образе антагониста — сына Василия Фивейского — де-

---

[1] Из письма Е. Н. Чирикову от декабря 1901 г.— Архив А. М. Горького. М., Гослитиздат, 1959, т. 7, с. 34.

[2] Из письма Е. П. Пешковой от 8 октября 1903 г.— Архив А. М. Горького. М., Гослитиздат, 1955, т. 5, с. 87.

генерата, кстати носящего имя отца. Болезнь Василия Фивейского-младшего получает в рассказе настолько расширительное истолкование, что отвлеченное символическое содержание этого образа совершенно разрушает изнутри его первоначальную реалистическую структуру. Продолжением эволюции образа священника Василия Фивейского станет анархист Савва из одноименной драмы Л. Андреева (1906), который свое личное неверие в бога пытается, впрочем безуспешно, внушить темной, экзальтированной, исступленно ожидающей чуда толпе. С другой стороны, написанный в экспрессионистической манере образ Василия Фивейского-сына откроет собой галерею образов-«сущностей» в символических произведениях Леонида Андреева. В рассказе «Жизнь Василия Фивейского» вторая, «сущностная» реальность с ее крупными планами, романтической приподнятостью тона и патетикой прямо и декларативно противопоставлена реалистическому правдоподобию.

Русско-японская война 1904 года вызвала к жизни знаменитый рассказ Л. Андреева «Красный смех». Никогда не видевший войны писатель мог знать о событиях на Дальнем Востоке только по газетным сообщениям да рассказам немногих очевидцев, возвратившихся с театра военных действий. В художественной литературе, посвященной войне, наиболее близким для себя по теме Л. Андреев считал рассказ Вс. Гаршина «Четыре дня». Сохранившиеся в архиве Л. Андреева черновые наброски и заготовки позволяют сделать заключение, что, воспринимая любую войну как «безумие и ужас», писатель испытывал непреодолимые для себя затруднения, когда пытался разрешить поставленную перед собой задачу средствами реалистического искусства. Вся доступная Л. Андрееву информация о русско-японской войне, переживаемая Андреевым-художником, преобразовывалась творческой фантазией писателя в устрашающие картины-видения «безумия и ужаса» всякой войны. Однако эти картины-видения в «Красном смехе» все же основывались на реальных фактах русско-японской войны, попадавших в русскую печать. В этом смысле очень интересными и даже неожиданными по результатам оказались сопоставления «Красного смеха» с очерками и репортажами военных корреспондентов в газете «Русское слово» и особенно в официозе военного министерства «Русском инвалиде». Леониду Андрееву недоставало лишь центрального собирательного образа, который мог бы объединить все его картины-видения. Им стал образ Красного смеха, хотя происхождение его прямого отношения к войне не имело. Летом 1904 года Л. Андреев снимал дачу в Крыму неподалеку от Ялты. Здесь он и приступил к первоначальному варианту будущего «Красного смеха», озаглавленному просто «Война». Работа шла с большим трудом, написанное не удовлетворяло автора. И... очень мешали красоты южного берега Крыма, столь «неуместные» и раздражающие Л. Андреева, внимание которого было приковано к событиям, развертывавшимся на Дальнем Востоке. В начале августа рядом с дачей Л. Андреева произошел взрыв на строительных работах, и мимо писателя пронесли на носилках тяжело раненного рабочего, все лицо которого было залито кровью. Так был найден образ Красного смеха. На следующий день Л. Андреев сказал знакомому литератору: «Вчера я на войне был. И написал рассказ, большой рассказ из войны... В голове у меня уже все готово». Л. Андреев предполагал выпустить «Красный смех» отдельным изданием и иллюстрировать его офортами

Ф. Гойи «Ужасы войны». По разным причинам, главным образом по цензурным, издание это не осуществилось. «Красный смех» появился в редактировавшемся М. Горьким третьем сборнике товарищества «Знание». Впечатление, произведенное рассказом на читателей, было, как и следовало ожидать, оглушительным, хотя и непродолжительным. Рассказ ударил по нервам, но реальная правда о войне все же оказалась значительнее, а потому и страшнее картин «безумия и ужаса», созданных Л. Андреевым-пацифистом. Впрочем, отрицать важное общественное значение «Красного смеха» было бы несправедливым, и среди художественных произведений о русско-японской войне («На войне» В. Вересаева и др.) рассказ Л. Андреева был значительным приобретением всей русской литературы.

В революцию 1905 года Леонид Андреев с горячей симпатией и воодушевлением говорил о «героической борьбе народа за свою свободу». Высшим достижением всего творчества писателя был созданный им в пьесе «К звездам» образ рабочего-революционера Трейча, чем-то напоминающего Нила в «Мещанах» М. Горького. Однако уже и тогда Л. Андреев выражал сомнение, что борьба народа увенчается победой. В поражении первой русской буржуазно-демократической революции писатель увидел подтверждение своих самых мрачных прогнозов. Временное торжество политической реакции было воспринято им как доказательство несокрушимости господствующей над всем миром и отдельно взятой личностью злой силы. В самый разгар кровавого столыпинского «умиротворения» Леонид Андреев поселяется в маленькой финской деревушке Ваммельсу на Черной речке. Здесь он строит себе дом с высокой башней, который газетные репортеры окрестили виллой «Белая ночь». В огромном кабинете писателя со стен смотрели страшные чудовища, скопированные Л. Андреевым с офортов Ф. Гойи. Душевным смятением и неизбывной тоской проникнута созданная им в 1908 году пьеса-аллегория «Черные маски»[1]. Но писатель не примирился с политической реакцией. Л. Андреев выступает с чтением своих произведений на вечерах, проводившихся с целью пополнения нелегального денежного фонда в пользу узников Шлиссельбурга. «Среди виселиц и тюрем» он демонстративно отказывается от приглашения участвовать в официальных торжествах по случаю открытия в Москве в 1909 году памятника Н. В. Гоголю.

После справедливо осужденного демократической общественностью рассказа Л. Андреева «Тьма» (1907) он создает «Рассказ о семи повешенных» (1908), написанный под впечатлением от потрясшего писателя известия о казни группы революционеров, готовивших покушение на царского министра Щегловитова и выданных провокатором Е. Азефом. С руководителем террористической группы, талантливым ученым-астрономом Вс. Лебединцевым (прототип Вернера), Л. Андреев был знаком. Герои Л. Андреева — революционеры, люди огромного мужества и духовной чистоты, убежденные в правоте своего дела. Однако и в этом рассказе, перенося конфликт из политического в морально-этический план, Андреев не раскрыл существа дела революционеров. «Рассказ о семи повешенных» писатель посвятил Л. Толстому и разрешил его свободную перепечатку в России и за

[1] «Черные маски» и последовавшие за ней «Анатэма» и «Океан» составили цикл философских пьес Л. Андреева о путях преодоления индивидуалистического сознания.

рубежом. В том же 1908 году печатается рассказ Леонида Андреева «Иван Иванович», воскрешающий в памяти один из эпизодов Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 году. Но наряду с этими произведениями Л. Андреев создает и другие, в которых берут верх ущербные, декадентские тенденции. Октябрьской революции Леонид Андреев не понял и не принял, хотя незадолго до смерти он признался старшему сыну Вадиму: «Все, к чему мы привыкли, что нам казалось незыблемым и твердым, выворачивается наизнанку, и появляется новая правда, правда другой стороны»[1]. Эта «правда другой стороны»— правда социалистической революции не стала правдой Леонида Андреева, но какие-то отголоски ее ощутимы в размышлениях писателя о будущем России. «Может быть, так и надо,— писал он в одном из писем в 1918 году,— чтобы старый дом России, затхлый, вонючий, клоповый, построенный по ветхозаветному плану,— развалился дотла и тем дал возможность воздвигнуть новое величественное здание, просторное и светлое». В том же письме Л. Андреев выражает уверенность, что «русский народ... принесет истинную свободу не только себе, но и всему миру»[2]. Эти строки были написаны в то время, когда Леонид Андреев работал над последним своим произведением — оставшимся незавершенным романом-памфлетом на империалистическую Европы и Америку накануне первой мировой войны — «Дневником Сатаны», в котором он произнес последний и окончательный приговор «сатанинскому» частнособственническому миру...

ВАДИМ ЧУВАКОВ

---

[1] Андреев Вадим. Детство: Повесть. М., Советский писатель, 1963, с. 253.

[2] Цит. по кн.: Десницкий В. А. М. Горький: Очерки жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1959, с. 239.



БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА



Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот» скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное,— Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице

была всё. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха на свое существование, когда Баргамот ворочался,— могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу!— плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговления».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с не особенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут, как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!»— резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатерью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!»— ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?»— подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам своей собственной пьяной особой,— его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе

не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру!— кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместе того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?!— бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность.— Вот, вот!..— Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь,— в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют,— толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах,— от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый,— было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе ве-

щественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье?— Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь?— мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш!— Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы!— презрительно ответил Баргамот.— До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте...— Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтересованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись од-

ним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз,— потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал»,— решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли?— ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты...— бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия,— мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая,— бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его.— А я того... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну...— смущенно гудел он.— Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего?— передразнил Гараська.— К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить?— спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько прояснevшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточен-

но сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же?— не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще.... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить,— поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю...— мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой,— и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары,— но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец?— спрашивает Марья.

— Не надо, потом...— отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы,— но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте,— потчует Марья.— Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте,— успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

1898 г.



ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простыньку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

— Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев. Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

— Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует»,— думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми масленистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой

и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку и, когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей, и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей,— Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы,— и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они

говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, и длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел прине-

сенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын — и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в тот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету,— впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженая голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

— Впервой по чугунке едет — интересуется...

— Угу!..— пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера, и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая, и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивался его, хорошо ли на даче,— конфузливо улыбался и отвечал:

— Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из «Старого Царицына». У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые — так выжгло их солнце. Он ловил в пруде ры-

бу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо; всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

— Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец!— радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, что ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей,— на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как ис-

тый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руки на плечо мальчика, сказал:

— Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!»— подумал барин.

— Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

— Надобно ехать, сынок!

— Куда?— удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти,— уже найдено.

— К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

— А как же завтра рыбу ловить? Удочка — вот она...

— Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит,— он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт — удочка, с другой призрак — Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные,— он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

— Вот видишь, перестал,— детское горе непродолжительно.

— Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

— Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а

сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

— Ты удочку спрячь!— сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

— Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот, погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

— Вот черти! Чтоб им повылазило!

— Кто черти?

— Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.



ПАМЯТНИК

(Эскиз)



о Тверскому бульвару, по направлению к Страстному монастырю, шла женщина. Выражение «шла» не совсем верно, впрочем, определяло характер тех движений, которые проделывали ее ноги, стараясь удержаться на осклизлом покате аллеи и в то же время продвинуться вперед, к тому более светлому в окружающем сумраке месту, каким была Страстная площадь. Вот уже третьи сутки моросил мелкий, осенний дождь, не переставая ни на минуту. Воздух настолько был пропитан холодной, все проникающей сыростью, что казалось, еще одна капля — и весь он обратится в сплошную, холодную воду, вплоть до низких иссера-темных облаков, непроницаемой пеленой отделивших скучную землю от высокого, спокойного неба с его мириадами равнодушных светил, о которых в этот момент забывала самая пылкая фантазия. Но подвигавшаяся женщина не обладала фантазией. Равнодушно предоставив грязному и мокрому, как гуща, подолу платья облипать мокрые ноги, она заботилась лишь о том, чтобы эти наиболее усталые части ее усталого тела не расползались далее пределов, полагаемых законами равновесия, и подвигали ее к светлому месту, в которое уставились ее глаза. Нельзя сказать, чтобы к этому месту ее влекла необходимость или какая-нибудь ясно осознанная цель. Тот же дождь моросил и там на площади, у этих ярких фонарей; никто не ожидал ее и там, как никто не ожидал ее здесь. Цель же, которая выгнала ее сегодня наружу и бросила в середину сырости, холода и дождя, была равно достижима и там и здесь. Она вышла на работу и находилась в центре рынка того труда, одной из представительниц которого, официально признанной, она была. Но метеорологические условия невыгодно отразились на спросе. Второй уже раз проделывала она нелегкий путь по бульвару, не встречая ни души, даже сторожа, который, согнав ее с бульвара, мог бы внести некоторое разнообразие в однообразную прогулку. Все, кому мог понадобиться ее труд, сидели по портерным и кофейням, куда ей, мокрой, грязной и не имеющей гроша за душой, доступ был закрыт.

Ноги почти переставали слушаться, когда обладательница их добралась до памятника Пушкина и тяжело села на одну из окру-

жающих его скамеек. Дальше идти было некуда. Глубоко передохнув и почувствовав минутное удовлетворение отдыха, женщина обвела вокруг глазами. Прямо перед ней тяжелой и угрюмой массой возвышался памятник. Дождевая вода каплями текла по черному, хмурому лицу, собиралась озерцами в глубоких выемках рукавов и ручейками стекала по складкам плаща. Наискось от женщины сидел какой-то человек. Собственно говоря, только путем наведения можно было догадаться, что это — человек. С внешней стороны это представляло собой огромный полотняный зонтик, из-под которого виднелось нечто, напоминающее собой ноги. В присутствии последних убеждало то обстоятельство, что большие галоши, какие рисуют обыкновенно в увеличенном размере на вывесках, не могли находиться тут одни без содержимого. Все это — и галоши, и зонтик, и голые, мокрые ветви деревьев, сиротливо тянувшиеся к неприютному небу, оставались в этой мертвой тишине и неподвижности.

Первой подала признак жизни женщина. То, что называется мыслями, не входило в круг отправлений ее организма, и ее обеспокоило неприятное ощущение. Ей захотелось покурить — взять папироску и раза три покрепче затянуться. Потребность в этом «затянуться» становилась все настоятельнее, пока наконец не подняла женщину с места и, без участия воли и размышления, не перенесла ее в соседство зонтика, недовольным движением откачнувшегося в сторону. На секунду из-под зонтика мелькнули острые, черные глаза, большой крючковатый нос и черные с проседью усы, с выражением негодования и обиды топорщившиеся кверху,— и вновь скрылись под серой полотняной поверхностью.

— Покурить нету?— прозвучал сиплый голос, странно нарушивший тишину и принятый женщиной за чужой. Но на самом деле он принадлежал ей.

— Нету,— после некоторого молчания глухо донеслось из-под зонтика.

Молчание.

— Пойдем со мной,— продолжал тот же сиплый голос, произнесший эту формулу с видом такого безучастия, что ответа, очевидно, и не требовалось. Ответа и не последовало. Молчание.

— А деньги у тебя есть?

Моментально зонтик отдернулся в сторону и показались глаза, нос и усы, все вместе с свирепым видом уставившиеся на женщину, а из-под усов послышался резкий, высокий голос, некоторыми звуками обнаруживавший недостаток зубов во рту незнакомца.

— И чего ты ко мне пристала? Что лезешь. Убирайся, пожалуйста. Привязываются ко всякому,— негодующей, плачущей скороговоркой высыпал незнакомец и вновь юркнул под зонтик, демонстративно дернув его. Но ни речь эта, ни жесты не произвели видимого впечатления на соседку, совершенно безучастно отвернувшуюся в

сторону и через несколько минут возобновившую допрос в том же вялом и бесстрастном тоне.

— А чего ты тут сидишь?

Через минуту из-под зонтика последовал ответ в форме двух самостоятельных фраз:

— Привязалась. Смотрю.

— Чего же тут смотреть?

Пауза.

— Отвяжись. На памятник смотрю.

Женщина повела глазами на памятник, скользнула взглядом по его неподвижной и черной массе и равнодушно отвернулась.

— Да чего же на него смотреть?

С тем же энергичным движением зонтик отдернут в сторону.

— Господи боже! Ну, скажу тебе, зачем,— ну разве поймешь ты? Ну что тебе надобно, скажи на милость,— быстро сыпал словами обладатель зонтика, но сквозь негодующий и плачущий тон его голоса просвечивало желание поговорить.— Ну, знаешь ты, чей хоть это памятник-то?

— Знаю,— Пушкина.

— Пушкина!— передразнил незнакомец.— А кто такой «Пушкин»? Околоточный надзиратель?.. Эх!..—Он сделал движение, имевшее целью вновь скрыться под зонтиком, но раздумал и продолжал:— Пушкин был великий человек. А я вот сижу и думаю, почему один великий человек стоит на пьедестале, а другой вот тут под дождем мокнет и с тобой, умницей, разговаривает. Поняла?

— Как вас зовут?

— Поняла, называется! Алексеем Георгиевичем меня зовут. Алексеем Георгиевичем. Ну, это ты поняла?

— А меня зовут Пашей.

Алексей Георгиевич с видом страдания, точно его внезапно схватила зубная боль, передернул усами и носом и отвернулся. Но молчать было скучно.

— Ну, а ты чего сидишь? Чего домой не идешь?

— Домой? Хозяйка не пущает. Не платила.

— А обделать никого не пришлось?— с язвительной иронией скосил глаза Алексей Георгиевич на Пашу. То, что он увидел, было охарактеризовано им одним словом: «Экая лахудра!» В это понятие входило и лицо Паши, безнадежно, до унылости плоское и широкое с большими бесцветными и тупо-вопросительными глазами. Небольшой, задиравшийся вверх нос, имевший достаточно сил, чтобы подтянуть за собой верхнюю губу широкого рта, видимо, стеснялся своего возвышенного положения. Входил в это понятие и костюм Паши, в весьма отдаленной степени напоминавший о женском кокетстве, но не дававший возможности предположить, что хотя когда-нибудь он был нов, чист и сух.

— Куда же ты теперь пойдешь?— продолжал вопросы Алексей Георгиевич.— Куда пойдешь, говорят? Видишь, какая погода?— Внешность Паши не оставляла сомнений, что она видела погоду, и этот вопрос был предложен лишь потому, что скотское равнодушие становилось Алексею Георгиевичу нестерпимым.

Молчание.

Алексей Георгиевич, сделав энергичный поворот, сел лицом к соседке и, переложив зонтик из правой руки в левую, распростер первую в воздухе с видом, долженствовавшим выражать полное недоумение.

— Скажи на милость — ну, за каким чертом живете вы на свете? Тьфу, гадость какая! Да что ты, одервенела, что ли?— крикнул он, нагибаясь к широкому и безучастному лицу. Не дождавшись ответа, Алексей Георгиевич махнул рукой и отвернулся. Потом засунул руку в карман, достал большие сребряные часы и посмотрел, который час. Потом стал топать ногой и выражать другие знаки нетерпения. Несколько раз заглянув на Пашу, погрузился в размышления, состоявшие, впрочем, из одной, но чрезвычайно важной мысли: «Люди меня не слушают, и черт с ними. С ней хоть поговорю». Перспектива поговорить хотя бы с «ней» была так соблазнительна, что Алексей Георгиевич заерзал на месте и, стараясь придать своему голосу оттенок покровительства и солидности, не допускающей чего-либо фамильярного, сказал:

— Слушай ты, как тебя... Паша! Пожалуй, зайдем ко мне на минутку. Только ты не вздумай чего!— строго добавил он.— Просто мне жалко тебя.

Паша, как бы ожидавшая этого предложения, молча поднялась и направилась по бульвару. Вскочил и Алексей Георгиевич, оказавшийся ростом ей по плечо. Длинное черное пальто мешком облекало его маленькую фигурку и сзади слегка похлопывало по большим галошам, когда он, семеня ногами, пустился догонять свою спутницу. Расползаясь ногами по мокрому песку, стукаясь друг о друга, шли по бульвару две эти фигуры — одна тяжелая, грузная, равнодушная, другая — маленькая, живая и нетерпеливая. Разговора не было. Раз или два Паша, чувствовавшая себя обязанной к любезности, заговаривала, но, не слыша ответа, умолкала. По дороге Алексей Георгиевич зашел в лавку, купил водки, закуски и папирос.

Маленькая, но уютная и теплая комнатка, которую занимал Алексей Георгиевич в полуподвальном этаже большого дома на Грузинах, разом наполнилась запахом сырости и какой-то гнили, когда туда ввалилась Паша, не раздеваясь остановившаяся посередине комнаты, пока хозяин зажигал лампочку.

— Ну, ты, того, разденься, а то от тебя пар как от лошади!— приказал Алексей Георгиевич, старавшийся совместить обязанности гостеприимства с заботой не загрязнять чистенькую комнатку.

Паша послушно разделась, оставшись в одной нижней юбке, а на голые плечи накинув платок, сурово поданный ей хозяином, во время раздевания усиленно возившимся над закуской и не смотревшим на гостью.

Выпили водки. Алексей Георгиевич употреблял ее очень редко, и в голове у него зашумело. Паша не то чтобы оживилась, но по деревянному лицу ее стало пробегать что-то. Не то улыбка, не то намек на какую-то мысль или чувство. Алексей Георгиевич, как хозяин и кавалер, начал занимать Пашу, но дальше вопросов о том, сколько ей лет и давно ли она занимается своим делом, уйти не мог — не знал, о чем спрашивают. И с обыкновенными девицами Алексей Георгиевич затруднялся разговаривать так, чтобы им было приятно, а с этой халдой какой может быть разговор! Достаточно с нее того, что колбасу перед ней поставили. «Вишь, как жрет-то!»— думал хозяин, следя за кусками, исчезавшими в широкой пасти.

Ему была противна эта жадность, но в то же время с каждым проглоченным Пашей куском увеличивалось расположение к ней и сознание прав на ее внимание.

— Ну ешь, колбасы много,— поощрял Алексей Георгиевич, наливая большие граненые рюмки. Сам он пил без закуски.

Выпили еще и еще.

Паша, с слегка осовевшими глазами, сидела, откинувшись на спинку стула, и с наслаждением затягивалась дымом дешевой папироски. Алексей Георгиевич, благосклонно сверкая колючими глазками, улыбался слегка презрительно и самодовольно:

— Ну что, как тебя... Паша! Рада? Не то что под дождем-то. А?

Паша вместо ответа сладко потянулась. Усмотрев в этом движении некоторое неуважение к его особе, Алексей Георгиевич нахмурился и поторопился перейти к серьезному разговору, сухо предупредив гостью о своем намерении.

Выдвинув ящик стола, он осторожно вынул оттуда различные бумаги и тетради, большие и маленькие, разъясняя значение каждой из них.

— Видишь, вот это — роман «Отринутое сердце». Я его писал... сколько я его писал? Два года. Многие очень хвалили, люди знающие,— а вот не пошел, лежит... Вот тут стихи. Я тебе потом прочту. Нет, лучше я сейчас одно прочту.

С недоверием взглянув на Пашу, но встретив внимательное, как казалось ему, лицо, Алексей Георгиевич приступил к чтению. Стихотворение, написанное рубленой прозой, изображало злоключения какой-то девицы, жившей на берегу Рейна в гордом и неприступном замке. Все дело, как поняла Паша, вышло из-за какого-то графа и цыганки, но при чем тут был верный слуга и по какой причине утопилась девица, осталось для нее не совсем ясным. Ей больше понра-

вилось другое стихотворение, в котором автор на что-то очень чувствительно жаловался и говорил о могилке. Потом хозяин прочел что-то о красивом молодом человеке, который в лунную ночь поджидал какую-то девицу в лесу. Декламация Алексея Георгиевича не оставляла желать лучшего в смысле возвышенности и выразительности. Размахивая руками, вскакивая со стула, то таращa, то томно закрывая свои глазки, он поднимал колючие усы до того, что они грозили перелезть к нему на лоб, а подбородок напряженно опускал вниз — пока наконец все это, медленно разглаживаясь, не принимало своего естественного положения.

— «В сладкой тишине ночи,— читал Алексей Георгиевич,— напоенной ароматами весны, вдруг полилась трепетная, серебристая песнь соловья: тиу, тиу, тиу; дзон, дзон, дзон; фюить, фюить; ро-ро-ро...»

Паша несколько изумилась, а Алексей Георгиевич снисходительно пояснил, что песня соловья целиком взята им из ученой книжки. Понемногу Паше становилось очень весело, и один раз она даже издала какой-то звук, весьма схожий с одобрительным хихиканьем, но Алексей Георгиевич так свирепо покосился на нее, что она умолкла и только всем телом подавалась назад, когда жестикулирующие руки поэта слишком близко придвигались к ее лицу. Много было прочитано и других стихотворений, и прозаических вещей, в которых автор с поразительной широтой взгляда затрагивал все темы, начиная с оды по поводу иллюминации и описания Куликовской битвы, кончая громовым обращением к каким-то родственникам, вопреки законам божеским и человеческим не уплатившим поэту тысячи рублей приходившегося на его долю наследства. Последним было прочитано стихотворное рассуждение под заглавием «Что такое дворянин», доказывавшее, что умерших дворян необходимо хоронить на государственный счет.

— Ну что?— торжествующе спросил автор, дрожащей от пережитого волнения рукой наливая рюмки.— А ты говоришь, чего я смотрю на памятник.

— Вы, значит, тоже в книжках печатаете?

— Печатаете! Нужно говорить: пишете. Ну да, я писатель. Может быть, слыхала: Орлов?

— И деньги получаете?

— Деньги! Не в деньгах сила. Другой и деньги получает, а все у него чепуха. А тут слава. А вот за это я и деньги получил.

Алексей Георгиевич вынул небольшую тетрадку, в которой аккуратно были наклеены печатные вырезки. Там были небольшие театральные рецензии, повествовавшие о полном сборе и о том, что ансамбль никем не был испорчен; были заметки по поводу дурно вымощенных улиц; сведения о вновь разбиваемых скверах и приездах высокопоставленных особ; был один рассказ и стихотворение, позд-

равлявшее читателей с Новым годом. Но на этих печатных образчиках своего гения Алексей Георгиевич остановился ненадолго. Видимо, его сердце более тяготело к толстым тетрадям, каллиграфически исписанные (с одной стороны) страницы которых едва ли когда-нибудь видели свет, если не считать таковым полутемную каморку автора.

— Видишь, сколько написал!— с гордостью похлопал он рукой по тетрадям.— Вот где... слава-то!

Алексей Георгиевич опустил захмелевшую голову и задумался. Потом медленно приподнял ее и, устремив на Пашу продолжительный взгляд, от которого она отшатнулась, так был он упорен и странен, глухо, разделяя слова, произнес:

— А они говорят: «графоман»! Смеются! Старый, говорят, ты дурак, хоть и дворянин. А знаете вы, рабы презренные, какие тут вложены мысли? Ребятишек научили пальцами показывать: вот он идет, Орлов,— а кто знает, что сталось бы со всеми вами, если бы... Да, если бы вы узнали это! М-мерзавцы!

Алексей Георгиевич ударил кулаком по столу и зашагал по комнатке, вернее, завертелся по ней, так как одна нога его описывала окружность, центром которой была другая.

— Ну, выпьем, что ли, ты, несчастная!

Паша, которую удар по столу укрепил в зародившейся в ней мысли, что «он» пьян — факт, с которым она встречалась ежедневно, с готовностью выполнила желание хозяина. «Скоро он кончит?»— проскользнула у нее мысль, свидетельствовавшая о том, что все происходившее она считала лишь прелюдией к тому неизбежному, ради которого ее, Пашу, поят и обогревают. Из чувства профессионального долга Паша нерешительно произнесла:

— Поди сюда, цыпленочек...

Но, убедясь, что цыпленочек бегает и не слушает ее, равнодушно погрузилась в прежнее состояние приятного отдыха и спокойствия.

Сделав еще несколько кругов, Алексей Георгиевич присел на стул и, дотронувшись рукой до колена Паши, с дружелюбной и в то же время жалко-просительной улыбкой заговорил, стараясь смягчить свой резкий, каркающий голос.

— Пойми меня, Паша.. Пашечка. Ты женщина, ты можешь меня понять. Ведь есть же у тебя сердце. Измучили они меня, голубушка, душу мою вынули...

— Кто же это?— осмелилась спросить Паша, думая, что он намекает на злых родственников.

— Люди, вот кто!— закричал Алексей Георгиевич.— Ты думаешь, они люди! Звери они. Загрызли!.. А за что? За то, что горд я! За то, что я чин имею, что не склонился я на их льстивые речи, не

поклонился их кумиру. «Говори то да то». А ежели я свое говорить хочу? И буду говорить, хоть разопните вы меня. Видно, не сладка правда-то? Боятся они меня. Сперва хвалили. Талант, говорят, у вас, Алексей Георгиевич, далеко вы пойдете. А вот этого не хотите ли? Нет, этого мы не можем напечатать, тут мысли нет. Мысли нет! Ну, не мерзавцы ли?

Алексей Георгиевич скрипнул остатками своих зубов и, схватив Пашу за руки, наклонился к ней.

— Пашечка, милая, знаешь ли ты, что значит быть непонятным?— Алексей Георгиевич трагически отдернул голову назад и, снова приблизив к самым глазам Паши, зловещим шепотом окончил:— Быть непонятным до самой могилы! Понимаешь,— продолжал он все тем же шепотом, все крепче сжимая красные и потные руки Паши,— они смеялись надо мной. Они ехидно вышучивали меня. «Наш знаменитый Орлов!» А я все верил, все ждал... и вот теперь, когда зубы эти повывалились, когда смерть стоит у меня за плечами,— я знаю, что я не понят! Глуп я — так чего же вы прямо не сказали, сразу? Зачем, зачем влили вы этот яд в мою душу... Не понят. Да, не понят.

Алексей Георгиевич поспешил смахнуть с одного глаза слезу и торопливо ухватился за руку Паши.

— А вот куда я это дену?— продолжал он тем же шепотом, указывая на разбросанные по столу тетради.— Ведь там все. Все! Понимаешь ты!— крикнул он и вскочил с очевидной целью сделать несколько туров по комнате.

— Э, да черта ты поймешь!— грубо бросил он Паше, остановившись перед нею в позе натуралиста, созерцающего червя.— На кого, главное, рассчитывал: она — девка, и я. Да, вот до чего довели. Что же, торжествуйте: «Знаменитый Орлов» и особа с Тверского бульвара. Ха-ха-ха!— хрипло рассмеялся Алексей Георгиевич и размашисто сел.— Ну, наливай, выпьем. Водка всех равняет.

Паша, расплескивая, торопливо налила. Она начала бояться хозяина. Пусть бы он ее побил, а то говорит, говорит — и все страшное.

— Ну чего глаза-то вытаращила? Пей, пока дают. Эх!—Голова Алексея Георгиевича, несколько раз мотнувшись в воздухе, поникла ему на грудь. Вся его маленькая фигурка, в аккуратных сапожках, в коротеньком, засаленном и потертом пиджачке, как бы сохранившем на себе следы всех приемных и редакций, где по целым часам терся и терпеливо ожидал его обладатель,— все было так детски жалко и беспомощно вопреки энергичному тону слов, что Паша осмелилась проговорить:

— Алексей Егорыч! Пойдемте, я вас в постельку уложу...

— Думаешь, пьян, заснул? Дура! Я еще и тебя перепью,— бодро

взмотнул головой Орлов, но удержать на высоте ее не мог.— Я тебе, дуре, еще о памятнике расскажу. Каждый вечер сижу я против него и зимой и летом. Один он у меня, во всем свете один, больше и поговорить не с кем. Спросишь: «Холодно тебе, Пушкин?»—«Холодно, ответит, Орлов». Заиндевел весь, черный... «Убили тебя люди, Пушкин?»—«Убили, Орлов». — «А памятник воздвигли?» — «Воздвигли!»—«И мне тоже будет!» Ну, покойник смеется, а другой раз пожалеет. А мне разве его не жалко? Душу его жалко. Заковали ее в железо, шевельнуться нельзя. И моя душа закована. Давит железо... Ох, давит!..

Алексей Георгиевич, понижавший голос по мере накопления чувства, остановился и, подняв на Пашу помутившиеся глаза, внезапно вскочил и, разрывая на груди рубашку, закричал голосом настолько громким и диким, что за перегородкой пошевелились.

— Водки давай, водки! Скорее... задыхаюсь!..

Трясущимися руками, шепча: «Господи Иисусе Христе!»— Паша налила рюмку и поднесла ее Алексею Георгиевичу, который, стукнув зубами о стекло, проглотил содержимое, а содержащее бросил в угол, где оно, жалобно звякнув, разлетелось на куски.

— Паша, Пашечка, пожалей меня, ведь я один. Всю жизнь не понят, умру... Будьте вы прокляты! Паша, одной тебе говорил. Женщин не знал. Паша, видишь, я плачу... Они смеялись! Голубушка, как тяжело жить на свете...

С глухим, не выходящим из горла рыданием Алексей Георгиевич упал головой на колено Паши, которая, одной рукой поддерживая тело напившегося гения, другой гладила его по плешивой седой голове и говорила, не обращая внимания на крупные слезы, катившиеся вокруг ее возвышенного носика и, как в пропасть, скатывавшиеся в широкий рот:

— Ну, милый, ну не надо плакать. Меня тоже били. И мать била, и другие били. Меня тоже жалеть надо...

Из-за перегородки послушался стук и донесся заспанный голос:

— Вы долго там, черти, не угомонитесь? Нужно людям и покой дать! Полуночники, нет на вас пропасти!

Паша бережно довела, почти донесла до кровати совсем обессилевшего и раскисшего Алексея Георгиевича. Бормоча что-то невнятное, он лежал навзничь и смотрел полузакрытыми глазами в потолок, слабо отталкивая Пашу, снимавшую с него сапожки, но вскоре замолк и уснул. Паша, побросав в угол кое-какого тряпья, свернулась клубком и, засыпая, долго еще шептала: «Господи, господи...»

Ушла она, когда Алексей Георгиевич еще спал.

Несколько дней провалявшись в постели, Орлов отправился на обычное место к памятнику с сильной боязнью встретить там Пашу.

Но ее не оказалось ни в этот, ни в следующие дни. Через две недели у одной из вечерних посетительниц бульвара Алексей Георгиевич спросил, не знает ли она, где живет Паша.

— Паша Лопастая? А ее в Екатерининскую увезли. Меня возьмите, старичок почтенный.

— Но, но!— надменно закинул голову Орлов.— Не извольте забываться.

И гордо засеменил к памятнику.

. . . .

«А все-таки жаль, брат Пушкин. Я еще многого не досказал».

1899 г.



БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой,— существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле,— и в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создавалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущал-

ся, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой бриллиантовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

— Но почему же вы не играли большого шлема?— вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

— Я никогда не играю больше четырех,— сухо ответил старичок и наставительно заметил:— Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

— Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю:

— Да, вероятно,— погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горнич-

ная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двацати, а летом говорил:

— Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо — летом они играли на террасе — и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

— Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

— А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

— Читали уже,—сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

— Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

— Играли бы четыре — и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчали-

вого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

— Ну и везет вам сегодня,— мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло

несколько двоек со смущенным видом — и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение — не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся — у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

— Два без козыря,— начал он, с трудом справляясь с голосом.

— Три пики,— ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

— Четыре черви,— сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

— Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:

— Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был уб-

ран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер — умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь,— и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда,— медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал — и играл за Нико-

лая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

— Вы здесь, Яков Иванович?— сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала.— Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

— Вы послали сказать?— спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

— Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру — ведь мы адреса не знаем.

— А разве он не на той же квартире, что в прошлом году?— рассеянно спросил Яков Иванович.

— Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

— Найдут через полицию,— успокоил старичок.— У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

— А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

— А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899 г.



МОЛЧАНИЕ

I



одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала:

— Отец, пойдем к Верочке!

Не поворачивая головы, о. Игнатий поверх очков исподлобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван.

— Какие вы оба с ней... безжалостные!— выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди — муж ее и дочь.

О. Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании.

— Ну, пойдем!— сказал он.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом:

— Только не брани ее, отец! Ты знаешь, какая она...

Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами о. Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой.

— Чего это вы?— спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него — такая она была белая, прозрачная и холодная.

— Верочка...— начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вера!— сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос.— Вера, скажи нам, что с тобой?

Вера молчала.

— Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и, поверь мне, человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху мать, как она страдает...

— Верочка!..

— И мне...— сухой голос дрогнул, точно в нем что переломилось,— и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?

Вера молчала. О. Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал:

— Против моего желания поехала ты в Петербург,— разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербург-то твой!

О. Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых опасностей и чуждых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая была его Вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе о. Игнатия и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит.

— Петербург здесь ни при чем,— угрюмо сказала Вера и закрыла глаза.— А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

— Верочка!— простонала мать.— Дочечка, да откройся ты мне!

— Ах, мама!— нетерпеливо прервала ее Вера.

О. Игнатий сел на стул и засмеялся.

— Ну-с, так, значит, ничего?— иронически спросил он.

— Отец,— резко сказала Вера, приподнимаясь на постели,— ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Правда, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там — поговорим.

О. Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку.

— Пойдем!

— Верочка...

— Пойдем, говорю тебе!— крикнул о. Игнатий.— Если уже она бога забыла, так мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом:

— У-у! Это ты, поп, сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и ответишь. Ах я несчастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенек и так спуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть.

С этого дня о. Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены. И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех, попадья робела и терялась, не зная, что говорить и что делать.

Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером, по обыкновению. Более не видали ее живою, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее.

Хоронил ее сам о. Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нее отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею, на колокольне, перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотела сказать: «Прощай, Вера!»— но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты.

В церкви на похоронах было много народу, знакомых о. Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели Веру, умершую такою ужасною смертью, и старались в движениях и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя.

— Каляный поп!— сказал, кивая на него, столяр Карзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы.

И так, твердый и прямой, прошел о. Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева,

ни горя,— они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину.

— Ну что, как ты себя чувствуешь?— спросил о. Игнатий.

Но уста были немы; молчали и глаза. О. Игнатий положил руку на лоб: он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука о. Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали, ни гнева.

— Ну я пойду к себе,— сказал о. Игнатий, которому сделалось холодно и страшно.

Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настасья!— крикнул о. Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери.— Настасья!— тише позвал он,— где канарейка?

Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красный, как свекла, грубо ответила:

— Известно где. Улетела.

— Зачем выпустила?— грозно нахмурил брови о. Игнатий.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

— Душенька... барышнина... Разве можно ее держать?

И о. Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул:

— Вон!— и, когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил:— Дура!

II

Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал о. Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками портрет, который она привезла с собой из Петербурга. В рассматривании портрета у

о. Игнатия установился известный порядок: сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке Веры и происхождение которой он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невредима.

Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем?

Но долго думать о подробностях Вериной смерти было страшно, и о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И, как ни ставил портрет о. Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, что он слышит молчание.

Каждое утро, после обедни, о. Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий, умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день о. Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотело перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то, на далеком конце, проволока начинала колебаться и звенеть тихо, робко и жалобно. О. Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождавшийся звук и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал.

— Глупости!— сердито говорил о. Игнатий и поднимался с кресла, все еще прямой и высокий.

В окно он видел залитую солнцем площадь, мощенную круглыми, ровными камнями, и напротив каменную стену длинного, без окон, сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего.

III

Вне дома о. Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами, при исполнении треб, и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс; но, когда он возвращался домой, он думал, что он весь день молчал. Это происходило оттого, что ни с кем из людей о. Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь: отчего умерла Вера?

О. Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь,— а они все теперь стали у него бессонными,— представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры и он просил ее: «Скажи!» И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, не тускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит... Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. О. Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил:— Вера!..

И ответом ему было молчание.

Однажды вечером о. Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного тяжелого взгляда, сказал:

— Мать! Я хочу поговорить с тобой о Вере. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной Вериной смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь... Я был строг, а разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала... туда. А ты,— ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать? Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о боге, о смирении, о любви?

О. Игнатий быстро взглянул в глаза жены — и отвернулся.

— Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать — я приказывал; просить — я просил. Что же, по-твоему, я должен был стать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове... откуда я знаю, что у нее в голове! Жестокая, бессердечная дочь!

О. Игнатий ударил кулаком по колену.

— Любви у нее не было — вот что! Что уж про меня говорить,

уж я, известно... тиран... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатий беззвучно рассмеялся.

— Лю-юбила! То-то в утешение тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи... как с-собака, которую ногами в морду тыкают.

Голос о. Игнатия зазвучал тихо и хрипло.

— Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий, или нет.

В ту же ночь,— это была июльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная,— о. Игнатий на цыпочках, чтобы не услыхали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек и где дерево стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатий открыл окно — и в комнату широкой струей влился свежий воздух, пахнущий пылью, недалекой рекой и цветущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пение: вероятно, катались в лодке и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, о. Игнатий подошел к пустой постели, подогнул колени и упал лицом вниз на подушки, обняв их,— туда, где должно было находиться Верино лицо. Он долго лежал так; песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели.

Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда о. Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго не сознаваемой любви и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера.

— Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь? Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький отец, уже седой, уже слабый...

Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку:

— Старенький отец... просит тебя. Нет, Верочка, умоляет. Он плачет. Он никогда не плакал. Твое горе, деточка, твои страдания — они и мои. Больше, чем мои!

О. Игнатий покачал головой.

— Больше, Верочка. Ну что мне, старому, смерть? А ты... Ведь если бы ты знала, какая ты нежная, и слабая, и робкая! Помнишь, как ты поколола пальчик, и кровь капнула, и ты заплакала? Деточка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка, и я — вот этими руками — я удушу твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки.

Волосы о. Игнатия встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатий впился глазами в стену и протянул руки.

— Скажи!

В комнате было тихо, и из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза.

О. Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, о. Игнатий отрывисто шепнул:

— Скажи!

И ответом ему было молчание.

IV

На другой день, после раннего и одинокого обеда, о. Игнатий пошел на кладбище — в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенною ночью, но, по привычке, о. Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде; он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами.

Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломан-

ные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила Веры. Она была покрыта новым пожелтевшим дерном, но кругом нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, о. Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное, пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск,— и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем не сравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах.

О. Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз, на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванной с землею откуда-нибудь с широкого, обвеваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чужой почвой,— и не мог представить, что там, под этой травой, в двух аршинах от него, лежит Вера. И эта близость казалась непостижимою и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой о. Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах бесконечного, была здесь, возле... и трудно было понять, что ее все-таки нет и никогда не будет. И о. Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и станет такая же высокая, красивая, какою была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании.

О. Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шепотом сказал:

— Вера!

Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и, встав на могилу, о. Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил:

— Вера!

Это был старый голос о. Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такою силою высказанное требование остается без ответа.

— Вера!

Громко и настойчиво звал голос, и, когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И о. Игнатий, еще раз оглянулся кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну.

— Вера, скажи!

И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит мозг и что Вера говорит,— но говорит она все тем же долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекатывается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами. Дрожа всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, о. Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему. С намеренной медлительностью о. Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровною, твердою поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу.

— Заблудился!— усмехнулся о. Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок.

Но стоит он одну секунду и, не думая, сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натыкается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, и рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и, наконец, бесшумно бежит, высокий и необыкновенный в развевающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услыхав глухой хрип, выходивший из его открытого рта.

Со всего разбегу о. Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок, по виду дальний богомолец, и возле него, наскакивая друг на друга, спорили и бранились две старухи нищенки.

Когда о. Игнатий подходил к дому, уже темнело и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени.

— Мать... Оля... пожалей же меня!— рыдал он.— Я с ума схожу.

И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо и жена заговорит и пожалеет его.

— Родная!

Всем большим телом потянулся он к жене — и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления, ни гнева. Быть может, жена прощала и жалела его, но в глазах не было ни жалости, ни прощения. Они были немы и молчали.

И молчал весь темный опустевший дом.

. . . .

1—5 мая 1900 г.



В ТЕМНУЮ ДАЛЬ

I



же четыре недели жил он в доме — и четыре недели в доме царили страх и беспокойство. Все старались говорить и поступать так, как они всегда поступали и говорили, и не замечали того, что речи их звучат глуше, что глаза их смотрят виновато и тревожно и часто оборачиваются в ту сторону, где находится отведенная ему комната. В противоположном от нее конце дома они ступали ногами неестественно-громко и так же неестественно-громко смеялись, но, когда им случалось проходить мимо белых дверей, которые весь день были заперты изнутри и так глухи, точно за ними не было ничего живого, они умеряли шаг, а все тело их подавалось в сторону, словно в ожидании удара. И хотя проходившие становились на пол всей ногой, но шаг их был более легок и более беззвучен, чем если бы они шли на цыпочках. И никто не называл его по имени, а просто словом «он», и так как все каждую минуту думали о нем, то это неопределенное название представлялось более ясным, чем полное имя, и никогда не заставляло переспрашивать. Почему-то казалось непочтительным и фамильярным звать его, как зовут других; слово же «он» точно и резко выражало страх, который внушала его высокая, сумрачная фигура. И только одна старая бабушка, которая жила наверху, звала его Колей, но и она испытывала напряженное состояние страха и ожидания беды, охватившее весь дом, и часто плакала. Однажды она спросила горничную Катю, почему барышня не играет сегодня на фортепьяно, но Катя удивленно взглянула на нее и не ответила, а, уходя, покачала головой, точно не одобряла самого вопроса.

Пришел он в серый ноябрьский полдень, когда все были дома и сидели за чаем, кроме Пети, давно уже ушедшего в гимназию. На дворе было холодно, и низко нависшие плотные тучи сеяли дождь, так что, несмотря на большие окна, в высоких комнатах было темно, а в некоторых горел даже огонь. Звонок его был резкий и властный, и сам Александр Антонович вздрогнул; он подумал, что явился кто-нибудь из важных посетителей, и медленно пошел навстречу, сделав на своем полном и серьезном лице приветливо-ласковую улыбку. Но она тотчас исчезла, когда в полутьме прихожей он увидел

бедно и грязно одетого человека, перед которым в смущении стояла горничная, робко загораживая ему путь. Вероятно, с вокзала он шел пешком и только местами ехал на конке, потому что коротенькое потертое пальто его было мокро, а брюки внизу забрызганы и стояли коробом от воды и грязи. И голос его был хриплый, грубый, не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания в тряском вагоне.

— Чего молчите? Дома, спрашиваю вас, Александр Антоныч Барсуков?— повторил вошедший свой вопрос.

Но отозвался Александр Антонович. Не входя в переднюю, он вполоборота взглянул на человека, которого счел за одного из бесчисленных просителей, и строго сказал:

— Вам что здесь нужно?

— Не узнал, отец?— насмешливо, но с дрожью в голосе спросил вошедший.— А ведь я Николай, по отчеству Александрыч.

— Какой... Николай?— отступил на шаг Александр Антонович.

Но, спрашивая, он уже знал, какой Николай стоит перед ним. Важность исчезла с его лица, и оно стало бледно страшной старческой бледностью, похожей на смерть, и руки поднялись к груди, откуда внезапно вышел весь воздух. Следующим порывистым движением обе руки обняли Николая, и седая холеная борода прикоснулась к черной мокрой бородке, и старческие, отвыкшие целовать губы искали молодых свежих губ и с ненасытной жадностью впивались в них.

— Погоди, отец, дай раздеться,— мягко говорил Николай.

— Простил? Простил?— дрожал всем телом Александр Антонович.

— Ну, что за глупости!— сурово и строго сказал Николай, отстраняя отца.— Какое еще там прощение?

Когда они входили в столовую, Александру Антоновичу было стыдно своего порыва, которому с такой неудержимой силой отдалось его доброе сердце. Но радость от свидания, хотя и отравленная, бурлила в груди и искала выхода, и вид сына, который пропадал неведомо где в течение целых семи лет, делала его походку быстрой и молодой и движения порывистыми и несолидными. И он искренне рассмеялся, когда Николай остановился перед сестрой и, потирая озябшие руки, спросил:

— А эта барышня — сестрица, что ли?

Ниночка, семнадцатилетняя девушка, бледненькая и худенькая, стояла у своего места и смущенно перебирала по столу пальцами, устремив на брата большие испуганные глаза. Она догадалась, что это Николай, которого она помнила больше, чем сам отец, и теперь не знала, что делать. И когда Николай, вместо поцелуя, пожал ей руку, она ответила крепким пожатием и чуть, по-институтски, не присела.

— А это господин студент Андрей Егорыч — Петькин репетитор,— знакомил Александр Антонович.

— Петька?— удивился Николай.— Да он уже учится! Важно!

Потом его познакомили с остролицей дамой, которая наливала чай и которую называли просто Анной Ивановной, и потом все стали жадно рассматривать его, пока он в свою очередь оглядывал комнату, желая узнать, все ли так, как было семь лет тому назад. Было в нем что-то странное, не поддающееся определению. Высоким ростом, гордым поворотом головы, пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых, выпуклых бровей, он напоминал молодого орла. Дикостью и свободой веяло от его прихотливо разметавшихся волос; трепетной грацией хищника, выпускающего когти, дышали все его движения, уверенные, легкие, бесшумные; и руки без колебаний находили и брали то, что им нужно. Словно не сознавая неловкости своего положения, он смотрел в глаза каждому глубоко и спокойно, но даже и в ту минуту, когда взгляд был ласков, в нем чудилось что-то затаенное и опасное, что видится всегда в глазах ласкающегося хищника. И говорил он повелительно и просто, видимо, не обдумывая своих слов, точно это были не ошибающиеся, невольно лгущие звуки человеческой речи, а непосредственно звучала сама мысль. Чувство раскаяния не могло иметь места в душе такого человека.

Но если это был орел, то перья его были сильно помяты в схватке, из которой он едва ли ушел победителем. Об этом говорило платье, носившее на себе следы ночевок, грязное, непригнанное к телу; и было в этом платье что-то неуловимо-хищное, тревожное, заставляющее всех хорошо одетых людей испытывать смутное чувство опасения. И минутами по всему статному и сильному телу пробегала мгновенная дрожь странной боязни; тогда все тело как будто становилось меньше, и казалось, что волосы на затылке поднимаются, как у ощетинившегося зверя; и глаза быстро и злобно обегали всех присутствующих. Пил и ел он с жадностью, как человек, которому долго пришлось голодать или который все время недоедает и поэтому готов бывает есть каждую минуту и все, что подано на стол. И, кончив, он сказал: «Важно!— и погладил себя немного насмешливо по животу. Отказавшись от отцовской сигары, он взял у студента папиросу (у самого у него папирос не было) и приказал:— Рассказывайте!»

Рассказывать стала Ниночка, именно о том, как она окончила институт и как ей жилось там. Сперва она робела, но так как рассказывать ей приходилоть то, что она уже несколько раз передавала, то она легко вспомнила все остроумные слова и была очень довольна собой. Николай не то слушал, не то нет; он улыбался, но не всегда в тех местах, где были остроумные слова, и все время водил

по комнате своими выпуклыми глазами. Иногда он перебивал речь не идущими к месту вопросами.

— Что́ отдал за картину?— спросил он у молчавшего и также несколько насмешливо улыбавшегося отца.

— Не помню.

— Две тысячи,— с почтением к деньгам отозвалась до сих пор молчавшая Анна Ивановна и боязливо взглянула на Александра Антоновича.

И оба улыбнулись — отец и Николай, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь Александр Антонович уже не суетился и оттого стал строгим и важным.

— Дела как?— так же коротко спросил Николай у отца.

— Ничего. Идут.

— Новый дом купили. На Итальянской. Трехэтажный. И завод еще купили,— почти шепотом сказала Анна Ивановна.

Она боялась Александра Антоновича, но не могла удержаться, так как всегда была занята тем, что сравнивала свой капиталец в пятьсот пятьдесят шесть рублей, находившийся в сберегательной кассе, с капиталом Барсукова, у которого были дома, заводы и акции.

— Ну, Ниночка, продолжай,— сказал Николай.

Но Ниночке давно уже стало скучно. У нее опять закололо в боку, и она сидела худенькая, бледная, почти прозрачная, но странно красивая и трогательная, как начавший увядать цветок. И пахло от нее какими-то странными, легкими духами, напоминавшими желтеющую осень и красивое умирание. Застенчивый рябой студент внимательно наблюдал за ней и тоже, казалось, бледнел по мере того, как исчезала краска с лица Ниночки. Он был медик и, кроме того, любил Ниночку первой любовью.

Но тут явился Феноген Иваныч, старый лакей. Рожа его выглянула из двери, как восходящая луна, и была так же широка, красна и безволоса. Он был в бане, после бани немного выпил и, придя домой, узнал от горничной о приезде барчука, с которым во дни оны играл в лошадки. Немного плача, то ли от водки, то ли от любви, он напялил фрак, надушил лысину, как это делал барин, и степенно пошел в столовую. За дверьми он немного постоял и с торжественно надутыми щеками, как при приезде самого губернатора, явился к Николаю.

— Феногешка!— весело крикнул Николай, и голос его прозвучал, как у ребенка.

— Барчук!— взвизгнул Феноген и, опрокидывая стулья, кинулся к Николаю.

Он хотел сперва поцеловать его в плечо, но так как Николай вместо того пожал его руку, то Феноген важно откинулся назад и ответил крепким, до боли, пожатием. Он позволял себе думать, что

он не слуга, а друг Николая, и рад был публичному признанию его в этом достоинстве. Но поцеловаться все же нужно было.

— И вдобавок пьян!— с веселым изумлением к постоянству Феногеновых привычек сказал Николай, ощутив запах водки.

— Разве?— строго отозвался Александр Антонович.

Мотая отрицательно головой, Феноген Иваныч благовоспитанно отступал задом и косил глаза, чтобы узнать, где дверь, но все-таки сперва попал в простенок и оттуда уже, на ощупь, добрался до двери. Все это заняло довольно много времени. В передней Феноген Иваныч приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно ему постороннее, хрупкое и ценное, тронулся в людскую. Вообще он уважал себя, но в данный момент самой уважаемой частью его тела была правая рука.

В этот день Александр Антонович не поехал в правление и после обеда, за которым он выпил много вина, пришел в светлое и мягкое настроение. Обняв Николая за талию, он повел его в библиотеку, закурил сигару и, приготовившись к долгому слушанию, добродушно сказал:

— Ну, теперь рассказывай: где был, что делал?

Николай ответил не сразу. По телу его снова пробежала та же странная дрожь испуга, и глаза метнули взор к двери, но голос оставался спокойным и серьезным.

— Нет, отец. Я прошу тебя оставить разговор о моих приключениях.

— Я видел у тебя кошелек заграничной работы. Ты был за границей?

— Был,— коротко ответил Николай.— Но довольно, отец.

Александр Антонович нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под сюртук, он прошелся по комнате и, не глядя на сына, спросил:

— Ты все такой же?

— Как видишь. А ты, отец?

— Как видишь. Ступай, мне надо заниматься.

Когда Николай вышел, Александр Антонович запер за ним дверь, оглянулся и, подойдя к камину, молча, но с силой ударил по белому, блестящему кафлю. Потом вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и сел заниматься. И опять лицо его белело той страшной бледностью, которая напоминает смерть.

Никто не видел свидания Николая с бабушкой, но вышел он от нее хмурым и как будто немного растроганным. И на минутку все почувствовали облегчение, когда за Николаем захлопнулись белые двери его комнаты, но с того момента он перестал быть гостем, и с этого же момента появилась та странная тревога, которая, разрастаясь, скоро захватила весь дом. Как будто вошел в дом и навсег-

да занял в нем место кто-то загадочно-опасный, более чужой, чем любой человек с улицы, и более страшный, чем притаившийся грабитель. И только один Феноген Иваныч не почувствовал этого, так как с радости выпил еще и теперь спал на поваровой постели, и во сне сохраняя вид полного самоуважения и немного откидывая правую руку.

А в гостиной Ниночка тихо рассказывала студенту о том, что было семь лет тому назад. Тогда Николай за одну историю был уволен с несколькими товарищами из Технологического института, и только связи отца спасли его от большого наказания. При горячем объяснении с сыном вспыльчивый Александр Антонович ударил его, и в тот же вечер Николай ушел из дому и вернулся только сегодня. И оба — и рассказчица и слушатель — качали головами и понижали голос, и студент для ободрения Ниночки даже взял ее руку в свою и гладил.

II

Николай никому не мешал; сам говорил мало и других слушал не то чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, как будто вперед знал, что́ ему могут рассказать. На середине рассказа он иногда уходил, и все время лицо его имело такое выражение, точно он прислушивается к чему-то далекому, важному и одному ему слышному. Он ни над кем не смеялся и никого не упрекал, но, когда он выходил из библиотеки, где просиживал большую часть дня, и рассеянно блуждал по всему дому, заходя в людскую, и к сестре, и к студенту, он разносил холод по всему своему пути и заставлял людей думать о себе так, точно они сейчас только совершили что-то очень нехорошее и даже преступное и их будут судить и наказывать. Теперь он был одет очень хорошо, но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то чужое и враждебное. И если бы все эти дорогие вещи могли чувствовать и говорить, они сказали бы, что умирают от страха, когда он приближается или берет одну из них в руки и рассматривает с странным любопытством. Он никогда ничего не ронял и ставил вещь на место, как раз так, как она стояла, но как будто прикосновение его руки отнимало у изящной статуэтки всю ее ценность, и после его ухода она стояла пустой и ни на что не нужной. Ее душа, созданная искусством, таяла в его руках, и оставался только ненужный кусок бронзы или глины.

Раз Николай пришел к Ниночке во время ее урока рисования, когда она очень похоже и хорошо копировала с чьей-то картины фигуру нищего, просящего милостыню.

— Рисуй, Нина. Я не буду тебе мешать,— сказал он, садясь возле, на низенькой софе.

Ниночка робко улыбнулась и некоторое время продолжала водить кистью, беря не те краски, какие нужно. Потом бросила и сказала:

— Я устала. Тебе нравится?

— Да, хорошо. Ты и играешь хорошо.

От этой холодной похвалы впечатлительной Ниночке стало скучно. Она, критически наклонив голову набок, осмотрела свой рисунок, вздохнула и сказала:

— Бедный нищий. Мне так жаль его. Тебе тоже?

— Да, тоже.

— Я в двух попечительствах о бедных участвую. Ужасно много работы,— горячо сказала она.

— Что же вы там делаете?— равнодушно спросил Николай.

Ниночка начала рассказывать подробно, потом короче, потом остановилась совсем. Николай молчал и перелистывал альбом, в котором знакомые Ниночки записывали стихи.

— Я на курсы хотела, но папа не позволяет,— внезпано сказала Ниночка, словно ища пути к вниманию брата.

— Дело хорошее. Ну и что же?

— Не позволяет папа. Но я добьюсь своего.

Николай ушел, и в груди Ниночки стало пусто и тоскливо. Она отбросила альбом, печально посмотрела на начатую картину, которая ей показалась отвратительной и никому не нужной мазней. Не умея сдерживать своих порывов, Ниночка взяла кисть и крест-накрест перечертила полотно синей краской и отхватила при этом у нищего полголовы. С первого дня, когда Николай пожал ей руку, она полюбила его, а он ни разу не поцеловал ее. Если бы он поцеловал ее, Ниночка открыла бы ему все свое маленькое, но уже изболевшееся сердце, в котором то пели маленькие, веселые птички, то каркали черные вороны, как писала она в своем дневнике. И дневник бы свой она отдала ему — а в дневнике на каждой странице рассказывается о том, какая она никому не нужная и несчастная.

Он думал, что она довольна и рисованием своим, и музыкой, и попечительством, и ошибался: ей не нужны ни рисование, ни музыка, ни попечительство.

Смеялся Николай только на уроках студента с Петькой и Петька ненавидел его за смех. В его присутствии он нарочно еще выше задирал колени, так что едва не заваливался со стулом на спину, щурил пренебрежительно глаза, ковырял в носу, хотя прекрасно знал, что это не нужно делать, и хладнокровно говорил студенту невыносимые дерзости. Рябое лицо репетитора наливалось кровью и потело; он чуть не плакал и по уходе Петьки жаловался, что мальчишка совсем не хочет учиться.

— Не знаю, что из него выйдет,— говорил студент.— Теперь вот тоже горничная жаловалась мне, что он ей гадости говорит.

— Прохвост выйдет,— без видимого огорчения определил Николай будущее брата.

— Бьешься, бьешься, нервы тратишь, а что толку!— чуть не плакал студент, вспоминая длинный ряд унижений и стыда за себя, когда хотелось провалиться сквозь землю или избить ученика.

— Бросьте!

— А жрать-то надо!— в отчаянии воскликнул Алексей Егорович.

— Ну и жрите, что подносят.

Но в споры со студентом, несмотря на старания последнего, Николай не вступал. И Ниночка и Алексей Егорович делали частые попытки решить, что такое представляет собою брат Николай, и доходили до таких фантастических картин, что обоим становилось смешно. Но, расходясь, они удивлялись своему смеху, и самые фантастические предположения казались истинными, а на другой день оба со страхом и странным любопытством ждали появления Николая, думая, что именно сегодня и решится томительный вопрос. Но Николай появлялся, а вопрос оставался все таким же далеким от решения.

Особенной яркости и неправдоподобности достигали те предположения, что делались в людской, и впереди всех рассказчиков стоял Феноген Иваныч. Когда он немного выпивал, фантазия его работала неудержимо и создавала такие картины, перед которыми он сам останавливался в недоумении и испуге.

— Он разбойник!— сказал однажды Феноген Иваныч, и красное лицо его побледнело от страха.

— Ну вот, разбойник!..— не поверил повар, но тоже оглянулся на дверь.

— Который грабит только богатых,— ввел поправку Феноген Иваныч, слыхавший когда-то от самого Николая, тогда еще мальчика, о существовании подобных разбойников.

— А зачем ему грабить, когда у отца денег невпроворот?— усомнился кучер, очень основательный человек.

— Три завода, четыре дома, акции каждодневно обрезают,— прошептала Анна Ивановна, у которой находилось теперь в кассе ровно пятьсот шестьдесят рублей, так как четыре рубля она внесла на днях.

Предположение Феногена Иваныча рухнуло. Анна Ивановна обыскала все вещи Николая и ничего не нашла, кроме белья. И именно то, что она ничего не нашла, кроме белья, всего более пугало и тревожило. Если бы в чемодане нашлись ружья, пули и ножи и Николай действительно оказался бы разбойником, это было бы не так страшно, как не знать совершенно занятий человека, который так не похож на других людей лицом и ухватками: слушает, а сам

не говорит и смотрит на всех, как палач. Тревога росла и переходила в суеверный страх, ледяной волной прокатывавшийся по дому.

Был подслушан один короткий разговор Николая с отцом — и не рассеял страха, но еще более сгустил туманную атмосферу недоумения и загадки.

— Ты сказал когда-то, что ненавидишь всю нашу жизнь,— раздельно выговаривая каждое слово, спрашивал отец.— Ты и теперь ненавидишь ее?

Так же размеренно и медленно звучал серьезный ответ Николая:

— Да, я ненавижу ее от самого дна до самого верху. Ненавижу и не понимаю.

— Ты нашел лучше?

— Да, нашел. Да, нашел,— твердо повторил Николай.

— Останься с нами.

— Это немыслимо, отец. И ты это знаешь.

— Николай!— прозвучал гневный окрик Александра Антоновича.

И через минуту напряженного молчания тихий и немного грустный ответ Николая:

— Ты все тот же, отец. Вспыльчивый и — добрый.

И рождество в этом богатом доме наступило смутное и безрадостное. Присутствие человека, который ни в чем не разделял мыслей и чувств окружавших его людей, мрачным кошмаром нависало над всеми и отнимало у праздника не только его радостный характер, но и самый смысл. Казалось, что и сам Николай заметил, как тягостен он для других, и почти не выходил из своей комнаты,— но за глазами он казался еще страшнее, чем на глазах. За несколько дней до рождества у Барсуковых случайно собрались гости; Николай не вышел к ним, как вообще не выходил ни к кому из посторонних, и одетый лежал на постели, прислушиваясь к звукам музыки. Смягченные толщей стен, они казались мелодичными и нежными, как далекое пение чистых и безгрешных голосов, и так мягко входили в ухо, словно пел самый воздух. Николай вслушивался и вспоминал то время, когда он был еще маленький, и была жива его мать, и у них собирались гости, а он так же издалека прислушивался к музыке и грезил — не образами, а чем-то другим, в чем и образы и звуки сплетались в одно яркое и мучительно-красивое, и оно извивалось, как разноцветная, поющая лента. И он понимал тогда, что значит это яркое, но не мог никому объяснить, даже себе, и только старался дольше не засыпать — и засыпал. Раз он заснул таким образом, никем не замеченный, в прихожей, на шубах, и теперь ему ясно представился запах пушистого, щекочущего меха. И снова содрогание непонятного ужаса пробежало холодными иглами по его телу,— но и другое что-то, более мягкое и теплое, озарило его лицо, и словно ласкающая нежная рука расправила насуплен-

ные брови. Лицо стало неподвижно, но спокойно, кротко и незлобиво, как у мертвого. Нельзя было догадаться, бодрствует он или спит, жив он или мертв, но можно было сказать одно: этот человек отдыхает.

Наступил сочельник, и в сумерки к Николаю явился Феноген Иваныч. Он был почти трезв, мрачен и глядел в сторону, а на глазах замечались следы как будто слез.

— Пожалуйте к бабушке,— сказал он из дверей.

— Что такое?— удивился Николай.

Феноген Иваныч вздохнул и повторил:

— Пожалуйте к бабушке.

Николай пошел наверх — и только что переступил порог, как две тонкие девичьи руки охватили его шею; к лицу приблизилось нежное личико с широко раскрытыми влажными глазами, и голос, задыхающийся от рыданий, зашептал:

— Коля, Коля, как ты нас измучил! Коля, Коля, братик милый, помирись с папой. И со мной! И останься с нами, Коля, Коля!

И маленькое, худенькое тело трепетно билось в его руках, и маленькое, никому не нужное сердечко стало таким огромным, что в него вошел бы весь бесконечно страдающий мир. Николай хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам. С постели тянулись к нему страшные в своей бескровной худобе руки бабушки, и голос, в котором уже слышались отзвуки иной жизни, хриплым, рыдающим звуком просил:

— Коля, Коля!..

А на пороге плакал Феноген Иваныч. Он потерял всю свою важность и хлюпал носом, и двигал ртом и бровями; и слез было так много, они такой рекой текли по его лицу, точно шли не из глаз, как у всех людей, а сочились из всех пор тела.

— Друг мой! Николенька!— шептал он молитвенно, протягивая вперед руки с застывшим в них красным платком.

Николай беспомощно и жалко улыбался, не зная того, что из его орлиных, теперь померкших глаз падают редкие, скупые слезинки. И тогда из темного угла выступила на свет трясущаяся старческой дрожью, бессильная голова того, кто был его отцом и всю жизнь которого он ненавидел и не понимал.

Но теперь он понял.

С тем же безумием любви, каким была проникнута его ненависть, Николай рванулся к отцу, увлекая за собой Ниночку. И все трое, сбившиеся в один живой плачущий комок, обнажившие свои сердца, потрясенные, они на миг стали одним великим существом с единым сердцем и единой душой.

— Остался!— хриплым торжествующим звуком кричала старуха.— Остался!

— Друг мой! Николенька!— шептал молитвенно Феноген Иваныч.

— Да! Да!— говорил Николай, не понимая, кому и на что он отвечал.— Да! Да!— повторял он, целуя дрожащую старую руку, которая с безмолвной нежностью гладила его по голове и лицу.

— Да! Да!— все еще твердил он, уже чувствуя, как в душе его вырастает грозное и неумолимое, короткое и тупое «нет!».

Уже надвигалась ночь, и весь большой дом, начиная с людской и кончая барскими комнатами, сверкал веселыми огнями. Люди весело болтали и шумно перекликались, маленькие, дорогие, хрупкие и ненужные вещи уже не боялись за себя. Они гордо смотрели со своих возвышенных мест на суетившихся людей и безбоязненно выставляли свою красоту, и все, казалось, в этом доме служило им и преклонялось перед их дорого стоящим существованием.

Александр Антонович, Ниночка и даже студент сидели все еще в комнате у бабушки и то говорили о своем счастье, то молча прислушивались к нему. Феноген Иваныч, еще немного выпивший от радости, вышел на воздух с целью слегка прохладить свою голову, и в то же время, когда он поглаживал руками красную лысину, на которой снежинки таяли, как на раскаленной плите, он с удивлением увидел Николая. Держа в руках небольшой сачок, Николай шел из-за угла, где находился черный ход, и был также неприятно удивлен, увидев Феногена Иваныча.

— А, Феногешка!— тихо сказал он.— Ну-ка, проводи меня до ворот.

— Друг...— растерянно бормотал Феноген Иваныч.

— Молчи. Там поговорим.

Улица в этот час была безлюдна, и оба конца ее терялись в белесоватой дымке медленно и бесшумно падающего снега. Остановившись перед Феногеном Иванычем и прямо в глаза смотря ему своими выпуклыми, блестящими глазами, Николай положил руку ему на плечо и сказал медленно, точно обучая ребенка:

— Скажи отцу, что Николай, мол, Александрович велели кланяться и сказать, что они — ушли.

— Куда?

— Просто — ушли. Прощай.

Николай похлопал лакея по плечу и тронулся от него. Но Феноген Иваныч и без слов знал, куда идет Николай, и со всей силой, какая была у него в руках, схватил его:

— Не пущу! Бог свят, не пущу!

Николай оттолкнул его и удивленно посмотрел. Но Феноген Иваныч сложил молитвенно руки и хнычущим голосом просил:

— Николенька! Друг единственный! Плюньте, не ходите. Ну что там? Деньги есть. Три завода. Домá. Акции каждодневно обрезают,— бессмысленно повторял он слова экономки.

— Что ты городишь?— нахмурился Николай и быстро зашагал.

Но Феноген Иваныч, весь праздничный в своем новом фраке и весь развинченный и словно помятый, бежал за ним, хватал его за руки и молил:

— Ну и я! И меня возьмите. Что же, ей-богу! Голубчик! В разбойники так в разбойники!— И Феноген Иваныч отчаянно махнул рукой, прощаясь с миром честных людей.

Николай остановился и молча взглянул на слугу, и в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное, холодно-свирепое и отчаянное, что язык Феногена Ивановича онемел и ноги приросли к земле.

Высокая фигура Николая серела и уменьшалась, словно тая в серой мгле. Еще минута, и он навсегда скрылся в той темной зловещей дали, откуда неожиданно пришел. И уже ничего живого не виделось в безлюдном пространстве, а Феноген Иваныч все еще стоял и смотрел. Крахмаленный воротник рубашки обмяк и прилип к шее; снежинки медленно таяли на красной похолодевшей лысине и вместе со слезами катились по широкому бритому лицу.

Декабрь 1900 г.



ЖИЛИ-БЫЛИ

I

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье с черной меткой «Палата № 8» и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

— Уж очень вы велики!— сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал, и наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухлый живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие,— может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

— Вот ваше место,— указала нянька на высокую, чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понра-

вилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силу; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву,— и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло: «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.», на другой — «Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем, и приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали,— оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

— Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер — звали его Иваном Ивановичем — решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого ка-

зались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов, Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистою грудой. Доктора стукали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье— становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассматривание его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию нянек он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен,— в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

— Когда у вас бывают приемные дни?— спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

— По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни,— словоохотливо ответила нянька.

— А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все это слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье и о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться, и все так же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издалека кричал веселым голосом:

— Исполнение желаний! За милую душу!— и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг — с четвергом, в пятницу — с пятницей, и, что бы ни творилось на воздухе, которого он не видал, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал руками по коленям, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил,— иногда трудно было решить — за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

— Та́к это мы с вами хорошо чайку попили,— по-небесному! Верно, отец, а?— говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года тому назад, а раньше был псаломщиком. И у всех — и у больных и у приходящих — он спрашивал, какого роста их жены.

— А у меня жена очень высокая,— с гордостью говорил он после того или иного ответа.— И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках — чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре — вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

— За милую душу! Вот как перед богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!»— «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с той же холодною отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

II

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета, и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусник, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее — делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими

черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делала больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

— Вот, отец, штука-то. Аз и ферт,— говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

— А ты подержи еще, поторгуйся,— насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строгом порядке расставил их, а номера — первый, второй, третий...— попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы — все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов,— здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы поворотить к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полам; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отправлении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так много и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и

всем оказать уважение, что его трудно бывало понять. О себе он говорил:

— Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

— Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался и сколько раз. По уходу докторов он становился веселее, благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

— Так это чинно,— радовался он,— по-небесному!

И еще раз показывал молчащему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троицко-Сергиевскую лавру, которое он совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась «белый налив» и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно синими, совсем летними, о. дьякон громко напевал трогательную песнь:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, владычицу мира песньми почтим!..»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался. Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественною песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страстной мольбы:

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!..»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задергивалась синим матерчатым абажуром, и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и за-

мирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в бога, не хотел жизни и не боялся смерти. Все,что было в нем силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь — и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти от жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

— Ду-ррак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с бóльшим злорадством поправлялся:

— Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палатам, реже смеялся, но, когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех — и солнце и докторов — и вспоминал все чаще о яблоне «белый налив». Потом он пел «Высшую небес»,

и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив песнь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

— Вот этакая огромная,— показывал он руками,— и по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

— А внизу печать архиерейская. Огромадная, ей-богу,— чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

III

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и мало заметные,— как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по утрам в палате открывали большую откидную фортку — внезапно, без переходов, врывался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески-дерзкому крику, а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

— Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчанием ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез,— «выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их взгляда — и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом,— левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами бог!», после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами бог!»— и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправлялся, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели; жизнь и сила выходили из них с такой зловещей бесшумностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе великого поста о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое время, крестился и бла-

годарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

— Чего это вы плачете, отец дьякон?— спросил студент.

— Ах, отец, и не говорите,— с умилением отозвался дьякон,— так это хорошо, за милую душу! Посадил меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, говорят, дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

— Уж очень трогательно читают Семен Николаевич. Так трогательно, что вся душа перевертывается. Жил, говорят, был дьякон...

О. дьякон всхлипнул.

— Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

— Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену тоже, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. Жил, говорят... был, говорят... дьякон...

И, пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмою повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно повертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на нянек. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил:

— Что с вами?

— Скучно,— сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, каким говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

— Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешкою смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письма, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность:

— Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей,— не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:

— А этакую штуку видал? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки, и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем, как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением и воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

— Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а?— В восторге от остроумной шутки отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, владычицу мира песньми почтим!..»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

— Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: жил, говорят, был купец...

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

— Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откалывать-то начнешь — по-небесному!— продолжал отец дьякон. Он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

— Да, отец,— медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон,— если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст,— тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня — так это выразить и тебе не могу, до чего сладостен!

Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

— К троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

— Торговые. А там, за милую душу — домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жестокие слова:

— На Ваганьково кладбище пойдешь,— вот куда!

— Что ты, что ты, бог с тобой!— бормотал отец дьякон.

— На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора,— ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено.— А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут,— за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

— Что ты, что ты, бог с тобой!— бормотал отец дьякон.

— Со мною-то ничего, а вот как тут покойников хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут,— руку похоронят. Потом ногу отрежут,— ногу похоронят. Так иного-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

— Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну, и чего ты ерепенишься: «К

троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню «белый налив». Жить тебе всего неделю, а ты...

— Неделя?

— Ну да, неделя. Не я говорю,— доктора говорят. Лежал я намедни, быдто спал, а тебя в палате не было,— вот студенты и говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.

— Про-тя-не-т?

— А ты думаешь, *она* помилует?— слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал:— Во, глянь-ка! Приложу кого, так тут ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К троице в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

— Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню,— чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят,— это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

— А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут?— спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой.

— Да, нездорова,— коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

— Какая жалость!— покачал головой Лаврентий Петрович.— Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слыхал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделья, но в действительно старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил стакан чаю и лег в постель, не заметив ни странной молчаливости

о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

— Не пришли сестрица!— говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей улыбкой.

IV

В эту ночь, томительно долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одеяло. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь подымалась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие: на губах у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звук ширился и рос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем и разом понял загадку: плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь.

— Кто это?— испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

— Кто это плачет?— повторил Лаврентий Петрович.— Дьякон, это ты?

Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударилась об железку.

— Что ты! Что ты!— бормотал Лаврентий Петрович.— Не плачь.

Но о. дьякон плакал, и все чаще ударялась дощечка, сотрясаемая рыдающим и бьющимся телом. Лаврентий Петрович сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то теплым и шумящим,— словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу,— дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком, Лаврентий Петрович отдышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона,— полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинувшийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

— Не плачь. Ну, чего плакать?! Боишься умирать?

Отец дьякон порывисто сдернул одеяло с головы и жалобно вскрикнул:

— Ах, отец!

— Ну, что? Боишься?

— Нет, отец, не боюсь,— тем же жалобно поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой.— Нет, не боюсь,— повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

— Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал,— попросил Лаврентий Петрович.— Глупо, брат, сердиться.

— Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это ты смерть накликал? Сама приходит...— И отец дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

— Чего же ты плачешь?— все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменялась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал.

— Чего же ты ревешь?— настойчиво спрашивал он.

О. дьякон охватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

— Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

— Какое солнце?— Лаврентий Петрович не понял и сердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку в

поле,— и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал лицом вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвенные тени лежали на его лице, неподвижном и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься,— и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди масси́вный кулак. О. дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:

— Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5—16 февраля 1901 г.



ГОСТИНЕЦ

I

Так ты приходи! — в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы, и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству — Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дела до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

— Так вот какие дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

— Ну, ступай. А то он бранить будет.

— Это верно,— обрадовался Сазонка предлогу.— Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь — и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного че-

ловеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

— Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

— Верю.

— Вот!— торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай!— сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

— Прощай!— сказал он своим детским, тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

— Так приходи же,— в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его,— очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

— Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

— Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха, и приносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

— Ну-ка, дай ударить,— просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в средину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

— А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вот ужо отнесу,— продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки — другая держала в подоле рубахи бабки — и серьезно советовал:

— Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове у Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин — и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем: хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день пасхи.

— Уж так нужно,— твердил он.— Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво:

«К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голова наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные птицы о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе — в красной шерстяной рубахе и жилетке,— а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно с запекшимися губами и просящим взглядом.

— Милый, да разве? Ах, господи!— говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница — желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

— Вам кого?— спросила вошедшая следом сиделка.

— Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте,— Сазонка указал пальцем на пустую постель.

— Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря,— грубо сказала сиделка.— И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

— Ерофеев — это по отечеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич,— объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

— Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему — Семен Пустошкин. Помер, говорю.

— Вот как-с!— благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги.— Когда же-с?

— Вчера после вечерен.

— А мне можно?..— запинаясь, попросил Сазонка.

— Отчего нельзя?— равнодушно ответила сиделка— Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволый он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна — кап!— и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

— Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семен Ерофеич,— так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали — тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства: огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку — под нее попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

— Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел,— глядел, не отрываясь,— и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок — и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый — как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю — и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

1901 г.

КУСАКА

I



на никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице,— ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, перемётываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка!— позвал он ее именем, общим всем собакам.— Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойди, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула, и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака!— убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос:— Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей,

и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб,— словно это был не хлеб, а камень,— и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойди ко мне!— звала она к себе.— Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку!— закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-

нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви,— и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет!— кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: — Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней

прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой?— в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит?— сказала мать и добавила:— А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко,— протянула Леля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко,— повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — дворняжка!

— Жа-а-лко,— повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка,— сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку.— Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты.

Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

— Дайте копеечку,— гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака!— тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

1901 г.



ИНОСТРАНЕЦ

I

С одиннадцати часов утра вплоть до восьми вечера студент Чистяков ходил по урокам и только раз в неделю, по средам, когда занятия с учениками начинались у него позже, заглядывал на минутку в университет, чтобы отметиться у педеля. На лекции он никогда не заходил и не знал даже, где расположены аудитории для юристов второго курса, так как очень не любил профессоров и ближайшей весной собирался навсегда уехать за границу — жить и учиться там. Для этой именно цели он набрал столько работы и копил деньги, а по вечерам, возвратившись с уроков, занимался немецким языком. Поселиться он решил в Германии, в Берлине; там уже с год жил его старый приятель и писал оттуда длинные и восторженные письма. И в каждом письме настойчиво звал его.

Но случалось по вечерам, что в голове у Чистякова что-то шумело, как вода, падающая с мельничного колеса; перед утомленными глазами мелькали неприятные лица учеников, и сильно болел левый бок. Тогда заниматься нельзя было, и он или ложился в постель, считал накопленные деньги и мечтал о своей жизни в Берлине, или шел вниз, в шестьдесят четвертый номер, где вечерами собирались обыкновенно студенты со всего «Северного Полюса»,— так назывались номера, в которых он жил. Он не любил собравшихся там студентов, как не любил всего, что его окружало: не любил улиц, по которым ходил, не любил комнаты, в которой жил, не любил всей неустроенной, хаотичной, варварски грубой и бессмысленной жизни. Даже хуже варваров казались ему люди, которых он видел всюду, на улицах и в домах: варвары были смелы, а эти только не уважали ни себя, ни других, и часто вырастал между ними страшный призрак тупого насилия и бессмысленной жестокости. Но сознание, что скоро он уйдет от них навсегда, увидит других, хороших людей, заживет настоящею, устроенною и доброю жизнью, примиряло его с остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожаление. И когда он приходил к ним, высокий, с узкою и больной грудью, с бескровным лицом постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое «здравствуйте!» звучало как печальное «прощайте!».

А внизу, в шестьдесят четвертом номере, всегда было так весело, беззаботно и шумно. Оттого, что в номере много пили водки и курили, много пели и кричали, спали на полу и на диванах, воздух в нем был сизый, тяжелый, сильно пахло спиртом и селедкой, и всегда царил беспорядок, такой прочный и непобедимый, что Чистякову он иногда казался особенным порядком. И хозяева комнаты, Ванька Костюрин и Панов, были похожи на свою комнату: беспорядочные и прочно утвердившиеся в своем беспорядке, по утрам вместо чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днем спали.

Имущества у них было очень мало, но на окнах всегда стоял ряд порожних бутылок, по росту, начиная от четверти и кончая соткой, а на стене висели бубен и треугольник и лежала хорошая гармония. С тех пор как один из товарищей по номерам, серб Райко Вукич, однажды ночью прошелся с бубном по коридору и страшно напугал всех жильцов, подумавших про пожар, каждый вечер в одиннадцать часов приходил коридорный Сергей и отбирал бубен до утра. А утром приносил его вместе с парою пива, и длинноусый Ванька Костюрин, по утрам очень мрачный, исполнял на бубне короткую песнь — тоже почему-то очень мрачную. А потом звонкой и веселой трелью рассыпалась гармония — и начинался бестолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечером в шестьдесят четвертый номер приходил Чистяков, узкогрудый, болезненный, неся на себе следы трудового дня и строго определенной жизненной цели, компания встречала его с легкой насмешкой и недоброжелательством.

— Иностранец ползет!— возвещал Ванька Костюрин.

И студенты смеялись, так как всем своим лицом, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей из-под тужурки, Чистяков менее всего походил на иностранца. Да и говор у него был самый великорусский: мягкий, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что он был совершенно равнодушен к их жизни, не понимал ее радостей и похож был на человека, который сидит на вокзале в ожидании поезда, курит, разговаривает, иногда даже как будто увлекается, а сам не сводит глаз с часов. О себе он ничего не рассказывал, и никто не знал, почему в двадцать девять лет он только на втором курсе, но зато много и подробно говорил он о загранице и тамошней жизни. И всем, кого видел в первый раз, сообщал с тихим восторгом где-то и когда-то услышанную им новость: что в Христиании, на самой лучшей площади, народ воздвиг два прекрасных памятника: Бьернсону и Ибсену, еще при жизни последних, и когда Бьернсон и Ибсен проходят по площади, они видят свое изображение отлитым из вечного чугуна и бронзы и так радуются любви народа, что оба плачут. И, рассказывая это, Чистяков глядел в сторону, и веки его наливались слезами и краснели.

Охотно рассказывал он и о том, сколько скоплено у него денег для заграницы — двести двадцать рублей, и однажды он даже надоел всем студентам с жалобою на то, как гнусно поступили с ним на одном уроке, обсчитав его на одиннадцать рублей. Так, взяли и спокойно обсчитали, а когда он стал требовать, то сперва посмеялись, а потом выгнали.

— Ведь это кровные деньги!— говорил он с гневом и тоскою.— Ведь, может, они мне двух лет жизни стоят!

— Ну, не ной, надоел!— сказал ему Ванька Костюрин.— Хочешь, мы тебе эти одиннадцать целковых соберем промеж себя?

Он предложил это от чистого сердца и был очень удивлен и обижен, когда Чистяков с негодованием отклонил предложение.

— Не товарищ ты!— сказал Костюрин с упреком, и все согласились с ним, что Чистяков не товарищ.

Это видно было и по тому, с каким презрительным равнодушием относился он ко всем студенческим интересам: что бы важное ни случилось, как бы ни горячился народ в шестьдесят четвертом номере, он молчал, рассеянно барабанил пальцами по столу и, если дебаты затягивались, начинал зевать и уходил заниматься немецким языком.

— Я не здешний!— говорил он с шутливым извинением, но в шутке его была страшная и почему-то очень обидная правда. И было неприятно чувствовать, что они совсем не знают этого узкогрудого человека, который так прямо идет к своей цели и не хочет сказать, откуда взялось в его больной груди столько силы и решимости.

И особенно не любил его Ванька Костюрин; сам он носил высокие сапоги, а летом в деревне поддевку, уважал все русское, водку, квас, жирные щи и мужиков, и старался говорить грубым голосом и по-простонародному: вместо «кажется» говорил «кажись» и часто употреблял слово «давеча». И он не понимал упорного стремления Чистякова за границу и причислял его почему-то к той же категории явлений, как белые перчатки, постоянная трезвость, визиты и модные сапоги; и два другие названия, данные им Чистякову, были такие: «аристократ» и «собачья старость». Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поехали бы учиться и жить за границей, если бы деньги. А он уговаривал их, доказывал, что денег всегда можно достать, волновался, но потом вглядывался в их добродушные полупьяные рожи, вспоминал всю их ленивую, распущенную жизнь — и равнодушно умолкал. Где-нибудь в углу на смятой постели он усаживался и смотрел оттуда блестящими и далекими глазами, такой бледный, узкогрудый и решительный.

А остальные весело и беззаботно жили со всею беспечностью молодости и здоровья, как будто не было у них ни вчерашнего, ни

завтрашнего дня, ни проклятых вопросов, которые несет с собою проклятая действительность. Широкоплечий, волосатый, толстошеий Толкачев, с маленькими и тупыми глазками, показывал силу своих мышц, подымал гири и заставлял всех смотреть на себя и восхищаться: он был членом гимнастического общества, признавал одну только силу и открыто презирал университет, студентов, науку и всякие вопросы. И многие его ненавидели, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни перед чем не останавливается, и даже за глаза не решались говорить о нем дурно. И когда кто-нибудь, выведенный из терпения, начинал спорить с ним, то всегда начинал спор словами:

— Конечно, всякий свободен в своих убеждениях, но ты, Костя, едва ли прав...

А он не понимал этой деликатности и спокойно обрывал спор:

— Ну, стоит с вами, с дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всех вас на конюшне драл.

И все делали вид, что он шутит, и смеялись. Хозяин Панов крошил лук для селедки и плакал; серб Райко Вукич, низенький, сухой, жилистый, горбоносый, с острым раздвоенным подбородком, по которому выступала колючая щетина, и с обвисшими усами, глядел на водку, молчал и ждал, когда нальют. Этот Райко был чудак. Трезвый он молчал, а когда выпивал немного водки, то начинал смешным и ломаным языком горячо и упорно рассказывать про Сербию — какие-то мелкие и неинтересные вещи: о партиях, о радикалах и турках, о каком-то скверном и ужасном человеке Бодемличе и еще о чем-то. И он так расхваливал маленькую и плохонькую Сербию, что все умирали со смеху и нарочно дразнили его.

— Господи!— удивлялся Ванька Костюрин.— Говорит про Сербию, а она вся-то с эту селедку. Возьмет ее турок да и проглотит.

— Подавится!— возражал Райко, щетинясь усами, подбородком, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.

— И выплюнет: экая дрянь, скажет!

Райко вспыхивал, окидывал гневным взглядом собравшихся и свирепо бросал:

— Осли!

И уходил в свой номер. Товарищи хохотали, а Чистяков, печально улыбаясь, думал, какая это действительно маленькая и грустная страна задорных и слабеньких людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкого и жалкого, как игра детей в солдаты. И ему было жаль маленького Райко и хотелось взять его за границу, чтобы он увидел там настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки наполовину пустели, студенты начинали петь, играть на гармонии и кого-нибудь посылали за Райко, который считался специалистом по бубну. Райко являлся и мрачно бубнил, а глаза его горели, словно у волка, и были остры, как жало осы. Если

становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуном начинала ходить по жилам, Ванька Костюрин вскакивал, подергивал плечами и плясал русскую. Громоздкий и неуклюжий, в пляске он был легок и перышком носился по комнате: выбивал каблуками частую дробь, взвизгивал, гикал, и вся комната точно вертелась и дрожала от стука, заливистых звуков гармонии и захлебывающегося рычания бубна. И у всех смотревших сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходил в угол, с безнадежным восторгом махал рукою и откуда-то из глубины выдыхал томительное и сладкое: э-э-х! И все они казались Чистякову похожими на сумасшедших.

Кончив пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюрин просил Райко:

— А ну, Райко, покажи, как у вас пляшут. Небось так не умеют.

— Так не умеют, а лучше умеют.

— Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у вас хорошо пляшут.

Все уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывал бубен. Потом лицо его становилось свирепым и кровожадным, и он делал несколько странных, порывистых и колючих движений — как будто не плясать он собирался, а душить, царапать и убивать. Без музыки, серьезный, немного страшный, он так похож был на маленького дикаря, что все разражались хохотом, а Райко опять обиженно ругался и уходил.

«Как они грубы!»— думал Чистяков, и ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую родину.

Бывал в шестьдесят четвертом номере студент Каруев, всегда ровный, всегда веселый и слегка высокомерный. При нем все несколько менялось: пелись только хорошие песни, никто не дразнил Райко, и силач Толкачев, не знавший границ ни в наглости, ни в раболепстве, услужливо помогал ему надевать пальто. А Каруев иногда умышленно забывал поздороваться с ним и заставлял его делать фокусы, как ученую собаку:

— Ну-ка ты, мясо, подними-ка стол за ножку!

Толкачев самодовольно поднимал.

— А ну-ка согни двугривенный.

Толкачев сгибал и стыдливо говорил:

— А папаша у меня мог кочергу в бантик завязать.

Но Каруев уже не слушал его и шел разговаривать к одиноко сидевшему Чистякову. С ним он был всегда серьезен и жалеюще-внимателен, как доктор, и когда разговаривал, то близко и ласково заглядывал ему в глаза. А Чистяков тоже жалел его и постоянно звал с собою за границу.

— Ну как, едете?— спрашивал Каруев.

— Двести двадцать собрал. Еще сто восемьдесят не хватает. А вы?— улыбался Чистяков.

— А я нет. Тяжело вам там будет, голубчик. Здоровье-то ваше...

— Там климат хороший.

— Так-то оно так, а все же лучше бы в Крым...

Бледное лицо Чистякова стало еще бледнее, и веки напряженно покраснели. Дрожа от боли и ужаса, точно у него от сердца отдирали его заграницу, он с тоскою и отчаянием прошептал:

— Я умру здесь. Умру. Господи! Там люди, там жизнь, а тут...— Он безнадежно махнул рукою.

— Ну-ну!— успокаивал его Каруев.— И поезжайте с богом, если так хочется.

— Там, вы знаете,— умиленно шептал Чистяков,— там в Христиании Бьернсону заживо памятник поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходят и видят это. Господи! Хоть бы только коснуться той благородной земли, хоть бы только раз вздохнуть тем воздухом!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорят, может быть. Умереть бы там.

Каруев ласково погладил его по колену.

— Не умрете. Нас еще переживете! А, должно быть, жизнь-то порядочно вас поломала. Ишь, нервы!

— Нервы!— улыбнулся Чистяков.— Не нервы, а вот,— он ткнул себя в грудь,— вот где сидит у меня ваша жизнь!

И начал рассказывать, как дешево все за границей, а люди только дороги. Не так, как у нас: все дорого, а люди дешевы.

II

На вторую половину года жить Чистякову стало труднее. Силы у него убавилось, чаще болел левый бок, и на уроках он легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкие и ленивые. И среди студентов в шестьдесят четвертом номере стало хуже. Там произошла история, которую все скоро позабыли, а Чистяков забыть не мог, так больно она поразила его. Это было еще в ноябре: силач Толкачев ударил Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись с ним. Был поздний вечер, они стояли толпою на дворе, все были сильно пьяны и смутно понимали, что происходит.

— За что ты меня?— крикнул Костюрин.

— А вот за что!— сказал Толкачев и еще раз ударил так, что Костюрин перегнулся надвое, едва устоял на ногах, и на зубах его показалась кровь.

Все хмурились, кричали, но никто не решался вступиться, и только Чистяков с истерическим вскриком бросился на огромного Толкачева и неловко ударил его, ушибив себе большой палец. По-

том что-то тяжелое, как пудовая гиря, обрушилось на его голову, он упал, а когда поднялся, все стояли кружком и наскакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали. Но все же он немного струсил и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; последний выплевывал на снег черную слюну и говорил:

— Братцы, разве так можно!

И через десять минут их помирили. Они протянули руки и поцеловались, а Чистяков всплеснул руками и заплакал от боли, от скорби и гнева.

— Господи! Его бьют, а он целуется. Ведь это подлость!

— А тебе что?— через плечо спросил Толкачев.— Хочешь, через крышу перекину?

— Иностранец!— презрительно сказал Костюрин, и все, галдя и смеясь, тронулись к воротам, а Чистяков пошел в свой номер, лег и долго плакал в темноте. Насилие, несправедливость, как туча, стояли над ним, и далеким, недоступными раем казались ему чудные и светлые края. «Хоть бы умереть там!»— думал он, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совестно, и он первый раз за все время знакомства пришел в номер к Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалил комнату.

— Как тут у тебя чудно́! Словно у монашенки!— говорил он, а потом сразу заплакал, и по длинным, перекосившимся усам его катились большие светлые слезы и капали на красное сукно номерного грязного стола. А через неделю все забылось, и Толкачев опять показывал силу своих мускулов и заставлял восхищаться ими, но теперь Чистяков не мог без ужаса смотреть на его красную толстую шею и огромный кулак и чувствовал себя в его присутствии таким беззащитным и слабым, как цыпленок перед ястребом. Грубая и тупая сила грозно стояла перед ним, и ни в чем не было защиты. Все-таки он перестал подавать Толкачеву руку, но тот встретил это презрительным и искренним хохотом и часто заговаривал с ним:

— Ну, иностранец! Скоро тебя черти унесут за границу? Поскорее, а то соберусь как-нибудь и ребра тебе пощупаю.

Чистякову было страшно; он молчал и думал: «Не понимает даже, что неприлично заговаривать с человеком, который не подает руки». А Толкачев хохотал:

— Не бойся: я ведь шучу. На что ты мне нужен, собачья старость!

И все облегченно вздыхали, так как боялись, что Толкачев и вправду побьет его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

— Ведь он хороший малый,— говорили они полуискренно, так как и за глаза не решались говорить о Толкачеве правду и не реша-

лись думать ее. И только один Каруев одобрил Чистякова и почти перестал бывать в шестьдесят четвертом номере.

Денег было скоплено двести девяносто рублей, и была надежда, что к весне, к апрелю месяцу, Чистяков соберет все четыреста. У него было бы больше, но на одном уроке у купца опять недодали десяти рублей, хотя обещались заплатить, а кроме того, пятнадцать рублей он дал Райко, который почти ничего не получал из дому и содержался на деньги товарищей: за его долю в квартире плату вносил Ванька Костюрин. С деньгами в кармане Чистяков стал спокойнее и увереннее. По целым вечерам он просиживал у себя в номере, мечтая о том, как хорошо он будет жить за границей, и уже начал укладывать некоторые мелкие вещи. И когда укладывал, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, как ключевая вода, печаль — о чем-то далеком, неизведанном и милом, и постоянно казалось, что он что-то забывает захватить с собою, что-то очень важное и доброе, без чего ему предстоит много неприятностей.

К товарищам он стал относиться мягче, не сердился на них и только жалел. Жалел, что они остаются с ужасным Толкачевым; жалел, что они так пьют и вся их жизнь будет тусклая, тоскливая, как у других, и ничего не удастся им из того хорошего, о чем они иногда мечтают. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикий сон, пожрет их, как сожрала тысячи других, и тщетны будут их попытки устроить другую, лучшую жизнь. И особенно жаль ему было энергичного и смелого Каруева, который бьется головой о стену и последнее время сделался очень мрачен и неровен.

— Поедемте!— уговаривал Чистяков.

— Куда?— не понимал Каруев.

— Да за границу.

Каруев раздраженно ответил:

— А я думал что́!— но потом спохватился и вежливо добавил:— Конечно, поезжайте. Чего ж вам тут сидеть? Полечитесь там, нервы подвинтите.

— Я лето хочу в Швейцарии прожить.

— Вот, вот! На что лучше,— похвалил Каруев и вежливо, как с малознакомым, простился с Чистяковым. Он тоже куда-то на время уезжал.

В середине марта один из хозяев шестьдесят четвертого номера, Панов, праздновал свои именины и позвал Чистякова. Ездили уже на колесах, и когда Чистяков вышел с последнего урока, на него пахнуло отрадной свежестью и первым весенним теплом. «Скоро!»— подумал он, и сердце его трепыхнулось, как птица, и выросло в душе что-то печальное и больное, как у всех уезжающих надолго, навсегда,— и потонуло в волне широкой радости и торжества. Ночное небо над городом было черное, и по небу таинственно неслись огромные белые хлопья облаков, как гигантские белые пти-

цы. В одну сторону неслись они, и был в их быстром и молчаливом полете могучий призыв к такому же вольному и счастливому полету. «Скоро! Скоро!»— думал Чистяков.

Народ уже давно собрался, когда он пришел в номера; было уже выпито водки и чаю, и все собирались петь. Чистяков устало уселся в углу, на сложенных кучею пальто, и с дружелюбной грустью смотрел на собравшихся: всего только через месяц он уезжал надолго— навсегда. Спели хором две студенческие песни, а потом выделились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, сам именинник, певший сильным и красивым басом, и еще один белокурый студент, тенор. Тишина наступила, и бас одиноко и медленно запел, и Чистяков вздрогнул: так неожиданно хороша была песня:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

Торжественным покоем, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче-сдержанные звуки: кто-то большой и темный, как сама ночь, кто-то всевидящий и оттого жалеющий и бесконечно печальный тихо окутывал землю своим мягким покровом, и до крайних пределов ее должен был дойти его мощный и сдержанный голос. «Боже мой, ведь это о нас, о нас!»— подумал Чистяков и весь потянулся к певцам.

И когда замер последний звук, вступил звонкий тенор и повторил — как будто отозвалась земля на жалеющие и ласковые слова, и мольбою дышала ее молитвенная речь:

Покой-ной но-о-чи всем уста-а-вшим...

И с той же величавой грустью и покоем лился в пространство томный, мужественный бас:

Весь день свой отдыха не зна-а-вшим...

Что-то сверкающее и драгоценное, как слезы, упало с высокого неба и пронизало тьму широкого густого баса и нежным горячим стоном смешалось с воплями земли:

Трудом купившим сво-ой по-о-кой!..

«Боже мой, боже мой! Ведь это она поет!— подумал Чистяков, вглядываясь в побледневшее лицо девушки.— О, милая, ведь это о нас, о нас!»

И все трое, смешав голоса, пронизывая ими друг друга, слившись в одну величавую, скорбную гармонию, повторили:

Покойной ночи всем уставшим,
Весь день свой отдыха не знавшим,
Трудом купившим свой по-о-кой!

Потом пелись другие грустные песни, но Чистяков не слышал их, и все в нем трепетало от бесконечной жалости к себе, который весь

день без устали трудился, к кому-то безличному, большому, нуждавшемуся в покое, любви и тихом отдыхе.

Привел его в себя веселый и шумный разговор вокруг Райко Вукича. Его опять дразнили, а он, сверх обыкновения, молчал, и только острые, как жало осы, глазки перебегали с одного на другого и двигался щетинистый раздвоенный подбородок.

— А что, Райко,— спрашивал Ванька Костюрин,— у вас у всех там носы крючком, как у тебя?

Райко медленно ответил:

— На днях серба одного, Боиовича, на границе зарезали. Турци зарезали.

И всем ясно представился зарезанный серб, какой-то Боиович, у которого мертвецки-желтый и крючковатый нос, как у Райко, и на горле широкая черная рана. Было неприятно, и Костюрин с деланным смехом сказал:

— Эка важность! Много еще осталось.

Райко ощетинился, побледнел, и колючки на его раздвоенном подбородке задрожали. И когда он заговорил, голос у него был металлический и резкий.

— Ти обманщик. Зачем ти пляшешь русского? У тебя нет родины, нет дома! Ти свинья.

Но ответил Чистяков, точно упрек касался его. Глухо и спокойно он сказал:

— А ты, Райко, любишь Сербию?

— Ну да, люблю.

. . . .

— А!

Все молчали — и, схватив круглый столовый нож, потрясая им в воздухе, Райко дико закричал:

— Убию! Ой, какой я злой! Как у меня болит сердце! Ой, как болит!..

Он с силою пустил нож в стену, и нож ударился плашмя и со звоном отскочил. Райко, не глядя, вышел.

Через полчаса за ним отправился Чистяков; ему было жаль маленького Райко, так сильно любившего свою маленькую, смертельно обидевшую его родину. Когда он еще шел по длинному, полутемному коридору, теряясь среди одинаковых, похожих одна на другую дверей, уха его коснулись какие-то странные звуки, похожие на вой или крик о помощи. На другой двери была надпись мелом: «Райко Вукич», и оттуда шли эти странные и теперь громкие звуки. На стук Чистякова ответа не было, и он вошел, смутно различая на светлом фоне окна маленькую острую фигурку Райко: он сидел на подоконнике, в темноте, и пел необыкновенно высоким гортанным голосом.

— Райко!— тихо окликнул его Чистяков.

Но Райко не слышал. Он не слышал, как хлопнула дверь, он не слышал шагов Чистякова и его голоса; он глядел на высокую кирпичную стену с черной полосой дымной копоти и пел. О далекой родине он пел; о ее глухих страданиях, о слезах осиротевших матерей и жен; он молил ее, далекую родину, взять его, маленького Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцеловать перед смертью ту землю, на которой он родился; о жестокой мести врагам он пел; о любви и сострадании к побежденным братьям, о сербе Боиовиче, у которого на горле широкая черная рана, о том, как болит сердце у него, маленького Райко, разлученного с матерью-родиной, несчастной, страдающей родиной.

Чистяков не понимал слов, но он слышал звуки, и дикие, грубые, стихийные, как стон самой земли, похожие скорее на вой заброшенного одинокого пса, чем на человеческую песню,— они дышали такой безысходной тоскою и жгучей ненавистью, что не нужно было слов, чтобы видеть окровавленное сердце певца.

На высокой, гневно-пронзительной ноте замер голос Райко, и так долго сидели они и молчали. Потом Чистяков подошел ближе и увидел сухие и злобные, горящие, как у волка, глаза.

— Райко!— сказал он.— Ты давно не был на родине; съезди туда, я дам тебе денег. У меня есть лишние.

— Там дом есть,— задумчиво сказал Райко.

— Какой дом?

— Так. Дом такой стоит. Разве ты не знаешь, какой бывает дом? Обыкновенный. И когда мимо него идет арба, она скрипит: уай, уай.

— Возьми денег, Райко.

— Не мешай мне,— сказал Райко.— Не мешай, пожалюста. Ступай к своим, а я буду одним. У меня очень болит сердце.

Но Чистяков не пошел к своим; он отправился в свой номер, сел на подоконник, как Райко, и стал смотреть на небо, на котором он прочел сегодня что-то хорошее. Все так же таинственно и молчаливо неслись гигантские белые птицы, и между ними чернело провалами бездонное небо; но чужд и холоден был теперь этот счастливый полет, и ничего не говорил он задумавшемуся человеку.

«Вот и я полечу!»— думал Чистяков, стараясь припомнить недавнее ощущение свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство вырастало в его груди, и билось, и трепетало, как запертая птица. И он понял, что это: ему страстно хотелось петь, как Райко, и тоже петь о родине. И он обрадовался, что понял, улыбнулся и совсем ясно ощутил запертые в его груди звуки мольбы и горячие, звучные слезы. Он открыл рот,— но стало неловко, что кто-нибудь может взойти и застать его поющим, и он запер дверь двойным поворотом ключа. И назад, к окну, он шел почему-то на цыпочках.

— Ну!— сказал он себе и запел что-то без слов — и так жидок, так подло-нерешителен был пронесшийся и в жалких корчах умерший звук, что Чистякову стало страшно. «Нужно слова, без слов нельзя»,— торопливо оправдывался он и начал искать слова; и множество слов замелькало в его мозгу, но среди них не было ни одного, рожденного любовью к родине. Всю свою память, все свое воображение напрягал он, искал в прошлом, искал в книгах, которые прочел,— и много было звучных и красивых слов, но не было ни одного, с каким страдающий сын мог бы обратиться к своей матери-родине. Он чувствовал его близко, он почти видел это слово и знал, чем оно отличается от других: все другие слова плоски и бедны, как нищие на паперти, а это облито кровью и слезами, как раскаленный уголь, и светло, как небесный огонь,— и не мог найти его. И таким пустым и бедным почувствовал он себя, как последний нищий, самый последний нищий, у которого душа черства, как брошенное ему подаяние.

— Боже мой! Боже мой!— шептал он в ужасе.— Да как же это? Ведь я хороший человек! Я хороший человек!

И он подумал, что скорее найдет то, что нужно, если станет писать. Ломая спички дрожащими руками, он зажег свечу, яростно сбросил со стола немецкий учебник и задумался над листом белой бумаги. И нерешительно, запинаясь, рука его вывела:

«Родина».

И остановилась. И более твердо повторила:

«Родина!»

И быстро, большими буквами он закончил:

«Прости меня!»

Чистяков взглянул на написанное и упал лицом вниз на бумагу и заплакал от жалости к родине, к себе, ко всем трудившимся и не знавшим отдыха. И ему страшно стало, что он мог уехать надолго, навсегда, и умереть там, в чужих краях, и угасающим слухом ловить чужую и чуждую речь. И понял он, что не может он жить без родины и не может быть счастлив, пока несчастна она, и в этом чувстве была могучая радость и могучая, стихийная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, в которых томилась его душа; она слила ее с душой неведомого многоликого страдающего брата — и словно тысяча огненных сердец колыхнулась в его больной, измученной груди. И в горячих слезах он сказал:

— Возьми меня, родина!

А внизу опять запел Райко, и дико свободны и смелы были гневно-тоскующие звуки его песни.

Сентябрь 1901 г.



МЫСЛЬ



диннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.

Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.

Лист первый

До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье — не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.

Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, не-

редко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие — потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.

Когда Алексей умер, ему было тридцать один год,— на один с немногим год моложе меня.

Алексей был женат. Если вы видели его жену теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет — и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!

Только трое — Алексей, я и Татьяна Николаевна — знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение, и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда смеялась; вероятно, не помнит,— ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей: *пятого сентября она засмеялась.* Если она будет отказываться,— а она будет отказываться,— то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся,— я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась, и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.

— Извините, пожалуйста,— сказала она, а глаза ее смеялись...

И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то

никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.

Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:

— Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?

А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну — при мне они не стеснялись — и добавил:

— Да, брат, дал ты маху!

Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.

Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело — литература,— выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.

И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а побеседовав, спать шла с ним — и была счастлива.

Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной, и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея,— и всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому наклонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видел и не увидит.

Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было — не знаю, поймете ли вы это — самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего — безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.

И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза — бледные, без огня и энергии.

Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. Но *Алексей не был талантом.*

Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни,

но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он — исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ,— и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:

— Вы не можете ему простить другого.

— Чего?

— Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...

Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:

— Вы меня выгнали бы?

В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:

— Нет, оставила бы.

А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.

Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в бога,— преступление перед богом; для других — преступление перед людьми; для таких, как я,— преступление перед самим собой. Было бы бóльшим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.

Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень

внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии,— подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв с расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.

Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга,— не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые,— и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что́ мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю menu ненужно роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.

И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.

Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют,— но это другое. *Другое.* Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.

Лист второй

Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.

Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные

и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал того, что люди называют скукою жизни: Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.

Я был единственный человек, которого я уважал,— как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую: не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.

И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж... неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.

Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: *именно* случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь»— вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.

Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния,— и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных и, наконец единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений,— за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей — а примеров ему можно было найти немало в моей богатой жизни — на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.

Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.

Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных: как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.

Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою — это наиболее распространенной и самой низкой

формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой — достоинство, которым немногие могут похвалиться.

Вообще, мне думается, во мне скрывается недюжинный актер, способный сочетать естественность игры, доходившую временами до полного слияния с олицетворяемым лицом, с неослабевающим холодным контролем разума. Даже при обыкновенном книжном чтении я целиком входил в психику изображаемого лица и,— поверите ли?— уже взрослый, горькими слезами плакал над «Хижиной дяди Тома». Какое это дивное свойство гибкого, изощренного культурою ума — перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься в адскую тьму, то поднимаешься на горние светлые высоты, одним взором окидываешь бесконечный мир. Если человеку суждено стать богом, то престолом его будет книга...

Да. Это так. Кстати, я хочу вам пожаловаться на здешние порядки. То меня укладывают спать, когда мне хочется писать, *когда мне нужно писать.* То не закрывают дверей, и я должен слушать, как орет какой-то сумасшедший. Орет, орет,— это прямо нестерпимо. Так действительно можно свести человека с ума и сказать, что он и раньше был сумасшедшим. И неужели у них нет лишней свечки и я должен портить себе глаза электричеством?

Ну вот. И когда-то я подумывал даже о сцене, но бросил эту глупую мысль: притворство, когда все знают, что это притворство, уже теряет свою цену. Да и дешевые лавры присяжного лицедея на казенном жалованье мало привлекали меня. О степени моего искусства можете судить по тому, что многие ослы и до сих пор считают меня искреннейшим и правдивейшим человеком. И что странно: мне всегда удавалось проводить не ослов,— это я так сказал, сгоряча,— а именно умных людей; и наоборот, существуют две категории существ низшего порядка, у которых я никогда не мог добиться доверия: это — женщины и собаки.

Вы знаете, что достопочтенная Татьяна Николаевна никогда не верила моей любви и не верит, я думаю, даже теперь, когда я убил ее мужа? По ее логике выходит так: я ее не любил, а Алексея убил за то, что она его любит. И эта бессмыслица, наверное, кажется ей осмысленной и убедительной. И ведь умная женщина!

Провести роль сумасшедшего мне казалось не очень трудным. Часть необходимых указаний дали мне книги; часть я должен был, как всякий настоящий актер во всякой роли, восполнить собственным творчеством, а остальное воссоздаст сама публика, давно изощрившая свои чувства книгами и театром, где по двум-трем неясным контурам ее приучили воссоздавать живые лица. Конечно, неминуемо должны были остаться некоторые пробелы — и это было особенно опасно ввиду строгой научной экспертизы, которой меня подвергнут, но и здесь серьезной опасности не предвиделось. Об-

ширная область психопатологии настолько еще мало разработана, в ней так еще много темного и случайного, так велик простор для фантазерства и субъективизма, что я смело вручал свою судьбу в ваши руки, гг. эксперты. Надеюсь, что я не обидел вас. Я не покушаюсь на ваш научный авторитет и уверен, что вы согласитесь со мною, как люди, привыкшие к добросовестному научному мышлению.

...Наконец-таки перестал орать. Это просто нестерпимо.

И еще в то время, когда мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. *Это мысль о грозной опасности моего опыта.* Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие — это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал, — но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?

И разве я не чувствовал своей мысли, твердой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять ее было в моей руке, искусного и опытного фехтовальщика. Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил ее, мою рабу, мою грозную силу, мое единственное сокровище!

...Он опять орет, и я не могу больше писать. Как ужасно, когда человек воет. Я слышал много страшных звуков, но этот всех страшнее, всех ужаснее. Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, проходящий через гортань человека. Что-то свирепое и трусливое; свободное и жалкое до подлости. Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как веревки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из темного отверстия рта идет этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук...

Да. Да. Такова была моя мысль. Кстати: вы обратите, конечно, внимание на мой почерк, и я прошу вас не придавать значения тому, что он иногда дрожит и как будто меняется. Я давно уже не писал, события последнего времени и бессонница сильно ослабили меня, и вот рука иногда вздрагивает. *Это и раньше случалось со мной.*

Лист третий

Теперь вы понимаете, чтó это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так

это со мной и будет, точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии,— у редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен? Как холодный,— да, именно холодный пот покрывал мое чело? Каким безумным огнем горели мои черные глаза? Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки.

Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было,— не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью: я боялся запугать ее, или, еще хуже, внушить ей подозрение. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она.

И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка — за ужином — я выбрал потому, что все будут в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собою я посадил Павла Петровича Поспелова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки.

Самый фокус был поразительно груб, даже глуп, но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой штуки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и «возбужденно» разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении таращить свои глазенки; потом я впал в «сосредоточенную задумчивость», дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны:

— Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?

И, когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся.

— Вы нездоровы?

— Да. Немного. Кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста. Это сейчас пройдет.

Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно, с неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я — раз!— выбил рюмку из-под самого его носа, два!— трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, ба-

рыщни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть,— это была преуморительная картина!

Да. Ну вот меня обступили, схватили: кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в Зоологическом, и глазами выделываю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался.

Дальше картина медленного успокоения, с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами:

— Где я? Что со мною?—

Даже это нелепо французское: «Где я?»— имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отрапортовали:

— У Каргановых.— Сладким голосом:— Вы знаете, дорогой доктор, кто такая Ирина Павловна Карганова?

Положительно, они были слишком мелки для хорошей игры!

Через день,— я дал время дойти слухам до Савеловых,— разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом:

— Что это ты, брат, натворил у Каргановых?

Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут... не то чтобы мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли?

— Вы сильно любите мужа?— сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея.

Она быстро обернулась.

— Да. А что?

— Да ничего, так.— И после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил:— Почему вы не доверяете мне?

Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее, и то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение.

— А разве вам можно верить?— спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания.

— Конечно, нельзя,— шутливо ответил я, а внутри меня уже снова разгорался потухший огонь.

Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом, я смело решил идти до конца. Борьба — вот радость жизни.

Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продуманно, да это и излишне при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но, раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось — вообще это редко бывает,— как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах.

— Негодяи!— кричал я.— Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!

И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, гг. эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукою живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку; даже могу вам сказать, какую: Гюи де Мопассана; как всегда, наслаждался ею и заснул, как младенец. А разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются ими? Разве они спят, как младенцы?

Сумасшедшие не спят. Они страдают, и в голове у них все мутится. Да. Мутится и падает... И им хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так, на четвереньки, и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать: «Ага!»— и засмеяться. И выть. Так поднять голову и долго-долго, протяжно-протяжно, жалко-жалко.

Да. Да.

А *я спал, как младенец*. Разве сумасшедшие спят, как младенцы?

Лист четвертый

Вчера вечером сиделка Маша спросила меня:

— Антон Игнатьевич! Вы никогда не молитесь богу?

Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренно и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела:

— Нет, Маша, никогда. Но, если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня.

И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высоко стоящие и свободные люди, вы, гг. экс-

перты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и «сумасшедшим», приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так, вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, приставленная вами наблюдать за сумасшедшими,— *сама сумасшедшая?* А это так.

Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользящей, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо, но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся — как раз то выражение, которое в этот момент господствует на вашем лице. Дело в том, что Маша обладает странною и многозначительною способностью непроизвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается. Этакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становится страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносью, углы рта опускаются; все лицо стареет на десяток лет и темнеет,— вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Вы знаете, как странен и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное: приглаживает мне волосы или поправляет халат.

— Пояс у вас развяжется!— говорит она, а лицо ее все такое же испуганное.

Но мне случается видеть ее одну. И когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!»— она быстро обернется, улыбнется своею нежною и пугливою улыбкою и спросит:

— Вам подать что-нибудь?

Она всегда что-нибудь подает, принимает и, если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей.

— Вы понимаете: их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети,— говорил я ей про войну.

— Да, понимаю,— ответила она и задумчиво спросила:— Вам не дать ли молока, вы сегодня мало кушали?

Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что Россия — государство и что

есть другие государства; она неграмотна и Евангелие слышала только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится.

Я долго считал ее просто ограниченным, тупым существом, рожденным для рабства, но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. *Это было полотенце.* Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, и если б она крикнула или схватила меня за руку... Но она ничего этого не сделала. Она только сказала:

— Не надо, голубчик.

Я часто потом думал над этим *«не надо»* и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключена и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом; она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машиной души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо», и она не могла объяснить.

— Вы думаете, что самоубийство — грех? Что его запретил бог?

— Нет.

— Почему же не надо?

— Так. Не надо.— И она улыбается и спрашивает:— Вам не принести чего-нибудь?

Положительно, она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие сумасшедшие. И вы не трогайте ее.

Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева, с прыщами на лице, и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленький, лет одиннадцати, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды.

Он был очень умный и талантливый, мой отец, и его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слушая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что́ говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов; и слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. *Я часто сомневался даже, существует ли он,*— до того весь он был вовне, в звуках и жестах, и мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он

человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком — он был адвокатом — он зарабатывал тысяч тридцать в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка:

— Клиенты?

Он улыбнулся, польщенный, и ответил:

— Да, брат, талант — великое дело.

Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось— это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым, а он постоянно говорил, что если б он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда.

И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так, что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если б судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я, никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренно считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность.

— Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?..— говорил он.

Сам он совсем раскис: длинные, нечесаные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил:

— За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк.

Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную и плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий, картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком!

Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости — адвокаты, литераторы, и художники,— он тыкал в меня пальцем и говорил:

— А сын-то у меня первый ученик. Чем прогневал я бога?

И все смеялись надо мною, и я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату, с тем чтобы незаметно для меня перело-

жить книги на столе и произвести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита.

— Инспектор приказывает коротко стричься,— говорил я серьезно и почтительно.

Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове: одни — чтобы остричь ее, другие — чтобы вытянуть из нее волосы.

Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда, пьяный, он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием.

— Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу?— спрашивал он.

— Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию.

— Вылизал?

— То есть как вылизал?

— Ну да, вылизал кляксу?

— Нет, я приложил пропускной бумаги.

Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь:

— Нет, ты не сын мне. Нет, нет!

Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: *«Мой отец — пьяница, вор и трус».*

Далее следовали некоторые подробности, которые, из уважения к памяти отца, а также и к закону, я не считаю нужным передавать.

Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, гг. эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад. Как я мог его забыть?

У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницею отца и одновременно любовницею моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от залы, и в ней явственно слышно было чтение дьячка.

Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!

Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкою была моя жизнь. Струсь я, по-

верни назад, окажись неспособным к любви — я убил бы себя. *Это было решено, я помню.*

И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.

Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!

Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.

— Это небольшой миллиончик,— сказал,— но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.

И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:

— Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.

Не с этим ли миллионом я жил?

Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкапах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я или нет, но с вашей точки зрения я негодяй,— посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку?!

Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру,— это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами — люди науки, и я верю, что вы с

должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. *Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы.* Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.

На клочке

Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне chloralamid'у в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. *Это бесчестно* — сводить с ума.

Лист пятый

После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:

— Ну как, голубчик, здоровье?

Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться: словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.

Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие — научно-медицинское удостоверение моей болезни.

И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.

— Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич,— говорила Татьяна Николаевна.

Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.

— Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу,— покорно ответил я.

Мы втроем — Алексей был тут же — сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.

— Да, Антон, обязательно сходи,— авторитетно подтвердил Алексей.— А то наделаешь чего-нибудь такого.

— Но что же я могу «наделать»?— робко оправдывался я перед своим строгим другом.

— Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.

Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея и спрашивал:

— Голову? Ты говоришь — голову?

— Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как это, и готово.

Это становилось интересно. *Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет.* Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников,— какая чепуха!

— Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью,— сказал я.— Она слишком легка.

— Что ты говоришь: легка!— возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул.— Попробуй!

— Да я же знаю...

— Нет, ты возьми вот так и увидишь.

Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:

— Алексей, оставь! Алексей, оставь!

— Что ты, Таня? Что с тобой?— изумился он.

— Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки.

Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.

У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.

Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое — это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой,— вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.

И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль — мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко парили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что три года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял второе место после Ласкера. Если б я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, *Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место.*

И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен: отказывается носить фуфайку и в самую опасную, сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу — редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой: могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку, но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем.

С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим.

— Заезжайте же к нам,— просила Татьяна Николаевна при прощании.

— Нельзя,— улыбнулся я.— Доктор не велел.

— Ну вот еще пустяки. К нам можно,— это все равно, что дома. И Алеша скучает без вас.

Я обещал, и *ни одно обещание не давалось с такой уверенностью в исполнении, как это.* Не кажется ли вам, гг. эксперты, когда вы узнаете об всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, а *и кем-то другим?* А, в сущности, никакого «другого» нет, и все так просто и логично.

Чугунное пресс-папье стояло на своем месте, когда одиннадцатого декабря, в пять часов вечера, я вошел в кабинет к Алексею. Этот час, перед обедом,— обедают они в семь часов,— и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались.

— Спасибо за книгу, дружище,— сказал Алексей, тряся мою руку.— Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр — едем с нами?

Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться: в этом отсутствии притворства было свое тонкое притворство, и, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если б почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших «его» мыслей зародилось и было выношено в голове никому не известного доктора Керженцева!

Я говорил ясно, точно, отделывая фразы; я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что, когда она будет на шести, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись, а я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то — как процесс этот прервется, сердце перестанет гнать кровь, и замрет мозг.

На какой мысли он замрет?

Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы; никогда не было так полно ощущение многогранного, стройно работающего «я». Точно бог: не видя — я видел, не слушая — я слышал, не думая — я сознавал.

Оставалось семь минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел.

— Я сейчас,— сказал он, выходя.

Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и стал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, и знал, что она смотрит не в окно, а на меня, и молчал.

— Как славно блестит снег,— сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось.

— Антон Игнатьевич!— сказала она и остановилась.

Я молчал.

— Антон Игнатьевич!— повторила она так же нерешительно, и тут я взглянул на нее.

Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросило той страшной силой, которая была в моем взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу.

— Алексей!— бормотала она.— Алексей... Он...

— Ну, что он?

Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал:

— Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой.

И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, приподнял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он не мигая смотрел на меня своими бледными глазами и повторял:

— Она думает...

— Да, она думает.

Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей так же медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз.

— *Погоди!— строго сказал я.*

Рука Алексея остановилась, и, все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся и еще два раза ударил его. Следователь говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего *три раза:* раз, когда он стоял, и два раза потом, на полу.

Правда, что удары были очень сильны, но их было всего три. Это я помню наверно. *Три удара.*

Лист шестой

Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце четвертого листа и вообще не придавайте излишнего значения моим помаркам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете.

Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему, и потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я ни владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ноги и переменив платье, я позвал посидеть с собою Марию Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и не жадная, и я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар.

— Поцелуй меня,— сказал я.

Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте.

— Ну же!

Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:

— Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!

— Чего еще?— рассердился я.

— Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!

А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает»,— мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Мария Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.

— Ступайте,— приказал я.

Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.

— «Погоди!»— повторял я, закрыв глаза, и улыбался.

И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами *моей* мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:

«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сума-

шедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:

«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Мария Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я,— и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:

— Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно — сумасшествие.

Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде — взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но, господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же , как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. *Завесьте!*

Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.

Этот вечер.

Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.

Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. *Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке.* Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.

«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»

Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли — те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.

И самое страшное, что я испытал,— это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, *живут*. Живут какие-то загадочные существа, быть может люди, быть может что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.

Я подошел к зеркалу... Завесьте зеркала. Завесьте!

Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея — около трех.

Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительною уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню — это мысль, или голос, или еще что-то:

«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».

Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!

Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.

Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения, гибели, обмана и неразрешимости.

Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль — ведь и врагам следует отдавать должное!

Я — сумасшедший. Не угодно ли выслушать: почему?

Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве... Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.

Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как *все сумасшедшие,* бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?

Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.

Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представлял...

Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделывался от этой мысли, забывал о ней.

И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что *я не сумасшедший* — вот что я увидел. Извольте выслушать.

Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки,— это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации,— она вводит меня в славную компанию.

Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы, только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.

Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоя-

щими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.

Мой план... Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости,— но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли,— но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие,— но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость — разве безумие?

А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отожествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?

Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.

Да. Это потому, что вы не верите мне... Но и я не верю себе, ибо *кому* в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?

Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?

Я знаю ваш ответ, Маша. *Нет, это не то.* Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убивая, вертится. А она вертится, Маша, вертится, и с нею вертимся и мы. Вы дитя, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.

Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. *Он умер, Маша, умер — и не воскреснет.*

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом, но ведь вы «люди науки», как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам, у вас есть книги, и вы обладаете ясной,

точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая — при другом, но я вам поверю, гг. ученые,— и первым поверю и вторым поверю. Скажите же... А в помощь вашему просвещенному уму и приведу интересный, очень интересный фактик.

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчиненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне страшных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. Взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там — раз!— и до самого низа. И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко, и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье: ползать. Никто не услышит, а если увидят, то скажу, что оторвалась пуговица и я ищу ее.

И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал:

«Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?»

И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться. И я обозлился.

— Ты хочешь ползать?— спросил я.

Но оно молчало, оно уже не хотело.

— Нет, ведь ты хочешь ползать?— настаивал я.

И оно молчало.

— Ну, ползай же!

И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комнаты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал.

С привычной и неугасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания, а как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет, и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но...

Но ведь все-таки я ползал? Я ползал? Кто же я — оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?

Помогите же мне вы, высокоученые мужи! Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный, дикий вопрос. Итак, я жду!..

Напрасно я жду. О мои милые головастики — разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая, человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший,— я докажу вам, что я здоров; вы станете доказывать, что я здоров,— я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам докажу, что можно убивать и грабить и что это очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы, и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду.

У вас есть громадное преимущество, которое дает одним вам знание истины: вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Држембицкий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей — экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет, не иначе как под присягой.

Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший. Но может случиться совсем неожиданная вещь...

Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль: а не сумасшедший ли я? Кем вы будете тогда, г. профессор? Этакая глупая, вздорная мысль — ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И кончено — нет более цельного молока.

Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну, а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустячного, над которым смеяться хочется — соскользнуть со стула и немного, совсем немного, проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не чувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали, и не кажется ли вам, что в коленах происходит что-то странное: тяжелое онемение борется с желанием согнуть колени, а потом... *Ведь в са-*

мом деле: разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти?

Никто.

Но погодите ползать. Вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена.

Лист восьмой

Одно из проявлений парадоксальности моей натуры: я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных: щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под которого только и видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной собачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатым между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно, она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатилась к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленах. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост, и лицо няньки было такое доброе, простое.

— Не бойся,— говорила нянька и улыбалась мне, и лицо у нее было такое доброе, простое.

Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство показалось мне холодною ложью из какого-то другого, совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило — все это было так просто и так полно кроткой и глубокой мудростью, будто здесь именно, в этой группе, заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе: «Надо об этом как следует подумать»,— но так и не подумал.

А теперь я не помню, что́ же было тогда такое, и мучительно стараюсь понять, но не могу. И я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную, ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. *Необходимо кончить.*

Оставим в покое мертвецов. Алексей убит, он давно уже начал разлагаться: его нет — черт с ним! В положении мертвецов есть кое-что приятное.

Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям, но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, д-р Керженцев! Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их — пусть плачут.

Но вот тут, в этой голове...

Вы понимаете, гг. эксперты, как это ужасно сложилось. Никого в мире не любил я, кроме себя, а в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки,— я любил свою человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли, я боготворил ее — и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами.

Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем неприступном за́мке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины,— так непобедим и горд был я в своем за́мке, за этими черными костями. Царь над самим собой, я был царем и над миром.

И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и — мысли. Мой за́мок стал моей тюрьмой. В моем за́мке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности замка, в толщине его стен — моя гибель. Голос не проходит наружу. И кто сильный спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я — я и есть единственный враг моего «я».

Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уж не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других.

Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги,— а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. Великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я — я всюду несу их с собою; одинокий в пустоте вселенной, и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокий, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые они.

Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копей-

ке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение!

Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким «я»? Нигде. Нигде. О, милая, милая девочка, почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки — ведь ты также человек и также ничтожна, и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли я тебя, или хочу, чтобы ты меня пожалела, но, как за щитом, укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства. Но нет, нет, все это ложь!

О большой, громадной услуге я попрошу вас, гг. эксперты, и, если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса.

Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?

Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу: каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова, я не ищу в каре искупления грехов, и если для доказательства, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа,— я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего, я не знаю еще и сам.

Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда, пусть надежда обманет меня, я все-таки хочу быть с ними. О, знаю вас! Вы трусы и лицемеры, вы больше всего любите ваш покой, и вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом,— вы охотнее весь мир и самих себя признаете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление — это вечная ваша тревога, это грозный голос неизведанной бездны, это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит! И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии, как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа.

Не униженно прошу я вас, а требую: скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас: я наделаю вам крупных неприятностей.

Для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете себе представить мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуется только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. *Это будет взрывчатое вещество.* Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. *И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного бога.*

На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику, в огромном количестве наполнившую зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно недослышав или по рассеянности, встал и громко спросил:

— Что, нужно выходить?

— Куда выходить?— удивился председатель.

— Не знаю. Вы что-то сказали.

В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело.

Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделились поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника:

— Обвиняемый! Что вы имеете сказать в свое оправдание?

Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть.

— Ничего,— ответил обвиняемый.

И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить его, и повторил:

— Ничего.

Апрель 1902 г.



ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО

I



ад всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался,— и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстановлял он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое.

И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

— Вася! А Вася?

— Что, милая?— покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестрижеными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая.— Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?

— Вася, а Вася?— повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий,— и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же, о тихоньком черненьком мальчике, который

жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася,— говорю я ему,— Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидал пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда,— он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары,— и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза кверху,— они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень,— приложил руку к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их,— и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

— Я — верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то

возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

— Я — верю.

А вернувшись домой, снова хворостинка за хворостинкой принялся восстановлять свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

II

О. Василия не любил никто — ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он приглашал к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

— Никто и идти к нам не хочет,— говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника и, после того как стали известны ему страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

— Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

— Нестóящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь:

— Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

— Ну, погоди: задаст тебе ужотка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

— Да и та была старая!— самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги—шаги человека, которому стыдно и страшно,— и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами,— эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все,

что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика,— и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на воздвиженье попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

— Господи, за что? Господи!— тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприютный, как на дворе.

— Что ж с ними поделаешь, Настенька!— оправдывался поп, потирая горячие сухие руки.— Терпеть надо.

— Господи! Господи! И защитить некому!— плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его,— воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства,

каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания,— и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

— Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

— Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжко и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами — багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

— Не хочешь? Не хочешь?— кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне.— Не хочешь? Так вот же перед богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра,— в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадьи он, целомудренный и стыдливый, отвечал такою же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень,— и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледя-

ными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

— Я — верю,— сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

III

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишаи и не поддавались лечению,— но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платою за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболеет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут ли они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожной походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но

та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать,— и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На крещенье, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

IV

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя — над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное: ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались — и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет — и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуребенка, полузверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю, та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его,— жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка, полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей

ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, как пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь,— когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

— Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

— Стулья отодвинь!— запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

— Слышишь! Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

— Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

— Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

— Да, видел. Спит.

— А кто же говорит там?

— Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась — как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И та-

кая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте,— отовсюду глядело на нее холодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу,— в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе,— на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

— Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

— Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

— Нет.

— Ага!— обрадовалась попадья.— Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

— Нет.

— А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

— Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

— Ты? Нездоров? Это ты нездоров?— Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь.— Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами.

— У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

— А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

— Что знаешь?

— Знаю, о чем ты думаешь. Ты...— попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа.— Ты... в бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь.

И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

— Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в бога.

И опять молчание, опять тишина,— но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

— Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света, и людских громких голосов.

— Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

— Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

— Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру — в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила. И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздрогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола — два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске — два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

— Кто тут?— вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

— Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

— А он?

— Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

— Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

— Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

— Неправда,— сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

— Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

— Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерно-седые нити волос.

V

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его

тяжелой поступи, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

— Загордели, батюшка! Кланяться не хотите,— насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

— Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

— Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерял глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал — думал о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше; он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду — ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полслове перебивая ее, он спросил:

— А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное — на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор — серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому ненужной голове были также правдой — печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на со-

роковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

— А дети у тебя есть?— быстро спросил он, снова перебивая старуху.

— Умерли, батюшка.

— Все умерли?— удивился поп.

— Все умерли,— повторила женщина, и глаза ее покраснели.

— Как же ты живешь?— с недоумением спросил о. Василий.

— Какая же наша жизнь,— заплакала старуха.— Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

— Ну, ступай,— прозвучал над нею суровый голос.

...Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями,— а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества,— но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица: и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания

одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом — эту огромную правду о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он попрежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

— Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

— Я уж час жду тебя. Замерзла вся!— Она ляскнула зубами от внезапной дрожи.

— Что случилось? Пойдем.

— Нет! нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

— Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению — и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности, или ей пригрезилось.

— Позови Настю и уходи сама,— приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

— Настя! Зачем ты делаешь это?— сурово, но спокойно спросил о. Василий.

— Что?

— Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

— Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

— Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

— Не знаю,— ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила:— Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

— А вам не нравится?— полуутвердительно спросила Настя.

— Нет.

— А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

— Ступай!— резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

— А обо мне вы не думаете,— сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

— Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

— Нет.

— Пойди и поцелуй меня.

— Не хочу.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Я никого не люблю.

— Как и я!— И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

— А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

— А меня?

— Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын — дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

— Скучно, Настя!— задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

— Конечно, скучно.

— А богу ты молишься?

— Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой. Ваське чаю приготовь, подай — сами знаете, сколько дела.

— Как горничная,— неопределенно сказал о. Василий.

— Что вы?— не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте

черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

— Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой — раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

— Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

— Что вы! Я ведь большая.

— Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

— Жалей маму.

Но, уже помолившись богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча, обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

— А я бы ее все-таки убила.

Позднею ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства,— пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

VI

Пришел великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли — бесконечно повторяли — глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили — глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

— А я тебя давно поджидаю,— сказал, усмехаясь, поп.— Зачем пришел, Мосягин?

— Исповедаться,— быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

— Что же, легче станет, когда исповедаешься?— продолжал поп и усмехнулся весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

— Известно, легче.

— А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

— Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлялся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа — точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что назы-

валось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству — и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому — он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле — и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел,— и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу,— и об этом он говорил долго и мучительно.

— Кончил!— весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

— А кто помогает тебе?

— Кто помогает-то?— повторил Мосягин.— Да никто не помогает. Скудно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог,— мужик осторожно подмигнул попу,— дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

— А бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

— Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно; он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

— Чего ты ждешь?

— Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

— Так, значит, и будет?— спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

— Так, значит, и будет. Так, значит, и будет,— повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами — и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

— А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

— Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

— Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать?— Он ткнул пальцем себе в грудь.— Что̀ я могу сделать? Что̀ я — бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

— Становись на колени.

Мосягин стал.

— Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и

оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

— Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать — ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И со смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему — его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил:

— Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и про-

зрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый — в субботу вечером потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

— Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

— Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

— Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас — ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

— Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мостолыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед — и страшны были они своей кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей,— тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

— Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет ходить — загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

— А-а-а!— длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натыкаясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы — первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

— Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

— Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его исступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

— Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и исступленно:

— И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

— Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот, прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда,— холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью,— но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежною тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

VII

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи,— ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское — и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

— Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как исступленный, повторял он страшные и беспощадные слова:

— Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие

есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полуребенка, полузверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего бога,— и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиною. Все дикое и злое родится за спиною человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров. Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным богу человеком и знает, что без него богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

— Ты думаешь, они это оценят?— говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой.— Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготовлялся к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на при-

поднятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалявшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

— Ступай! Бог отпустит твои грехи,— сказал он.

— Погодите. Еще скажу,— прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему стало жалко своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой,— но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним,— утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спьяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

— Правда это?— глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

— Ну, ей-богу, правда. Ну вот провалиться мне.

— Так ведь за это же ад!— крикнул поп.— Ты понимаешь, ад!

— Бог милостив,— угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уже свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

— На земле — ад, в небе — ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой,— но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори!— кричал поп, и волосы его качались, как от ветра.— Где же твой бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!»— с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в унизительности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

— Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех — это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен и до колен мокр и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к пасхе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

— Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастие, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо: при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной ребенок, которого напугал страшный сон, и он не смеет пошевельнуться.

— Молись, Вася!— прошептала попадья, гладя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

— Застегни.

— Куда ты?— удивилась попадья.

— Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметною

и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересмякшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома — там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

— Вася! Неужели это правда?— спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

— Не надо. Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно и стало и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом — огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

— Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает»,— подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

— Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение,— что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

— Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

— Вася!..

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, попрежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

— Так-то, попадья!— сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко — еще неизвестно куда. А идиот остается: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

VIII

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить,— но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их: верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить»,— думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это — ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

— Хорошо на земле,— говорил он и сдержанно смеялся зага-

дочным и темным смехом, как будто насмехался он над кем-то или над самим собою.

— Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо!— говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело шутила:

— Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь,— говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принесся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запружена народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу, точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха — веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья — вероятно, от зароненного огня с папиросы или от не-

брежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живою, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о. Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновение он стоял молча с опущенными глазами — и, вскинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья.

— Где она?— спросил он громко у молчавших людей. И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, раздельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость бога.

— Во имя божие,— слышишь ли ты меня?— воскликнул он.— Я здесь, Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадьи нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

— Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благослови. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей — на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой

жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятой страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она — кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было — так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадья.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая во тьме, то белея, как хлопья кружащегося снега. Умерла попадья.

— Нет! Нет!— заговорил поп громко и испуганно.— Нет! Нет! Я верю. Ты прав. Я верю.

Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок — точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

— Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать — как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты. Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека — все было повернуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный, ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не име-

ла сил улететь и беспомощно ползла по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползла и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы дерев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стукая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала наседка с дюжиной пушистых желтых цыплят,— а он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал. И чудны были его мысли — яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни, вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня — разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?»— но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля и ад взглянет на него своими красными, лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудахтала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

— Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее — и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына — и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом — а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это — мое знание. А она — безмерно несчастная женщина, оскорбленная в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь,— а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: он дал мне видеть жизнь и испытать страдание и острием моего горя проникнуть в страдание людей; он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас господь, настал для нас час милости божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

— Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель — покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить — и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля — мой подвиг, моя жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул,— и улыбнулся поп.

— Вот — стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я — не в руке его? И смею я не верить в божию милость, когда этот верит в мою человеческую благость, в мое человеческое сердце.

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый, заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно — чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно склонив голову, о. Василий промолвил:

— Да будет святая воля твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издалека увидели попа и, дружелюбно кивая головами, поспешно направились к нему, подошли ближе, замедлили шаги — и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

— Что вы так смотрите на меня?— удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбегалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

— Что вы так смотрите на меня?— повторил он, улыбаясь.— Разве я — чудо?

IX

Видимо для всех о. Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившей в городе, он отослал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка,— она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

— Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

— Прощай, Настенька. Учись, смотри, не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уж в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

— А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же,— сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

— Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех — со мною ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый — так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

— А может, и этого брать не стану,— загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфирычу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

— Помни мое слово: наделает делов этот поп.

— Каких делов?— равнодушно спросила жена.

— А таких. Только как по тому случаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы...— Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов старосты, или из другого источника — по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашеные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара, сизым облаком ползавшего по грязному, исслеженному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы

огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито назвал его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

— Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

— Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственною жизнью духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы — и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безглагольным излиянием. Со смерти попадьи он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное: кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклонной молитве. А когда уставал,— садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам — теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался слу-

жить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугробы снега, ноги утопали и расползались в сухой искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как следует не топили и холод стоял лютый — тот особенный, пронизывающий холод, какой свойствен нежилым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, растапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, присев на корточки, о. Василий отогревал руки: иначе крест не держался в негнущихся, залубеневших пальцах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянного пьянства и от холода нос у псаломщика был багрово-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом, о. Василий облачался в старую ризу, на которой, в местах золотой вышивки, торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в полутьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка — один у псаломщика, другой на амвоне у образа спасителя — только сгущали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь,— а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям. Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

— Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

— А завтра — будем? А то, может, нельзя?
— Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе — и удивлялся. Думал о попе — и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал — до самой ночи. А наутро ждал — не обманет ли поп, и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время — и на возгласы попа стали приходить из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безлицая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась — как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города — словно больно и трудно им было продираться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они — говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома́ и бесстрастные лица ничего им не сказали,— и они уехали обратно, позвякивая колокольцами.

А слухи, после этого посещения, стали еще упорнее и злее,— и каждое утро совершал служение о. Василий Фивейский.

X

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу, заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету — и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запушенные инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегала дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла,— а потом, бесноватая, отбегала, в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле, в поле...

— Метель,— говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пушистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки: мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову — шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

— Бах!— стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запушенные окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение — и снова перед

опущенными глазами развертывался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы.

— Па-па,— бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил — верою тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он — могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

— Па-па! Па-па!— еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их — и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу — для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая; камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба, с визгом и свистом. За снежинками гонялась она,— и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

— Па-па!— громко кричал идиот.— Па-па!

Человек слышит и поднимает голову — с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся вьюги — и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается — свершилось!

— Ну, что, Василий? Чего не клеишь — клей!

— Па-па!

— Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу — глаз в глаз с серою ночью — и смотрит. И шепчет с ужасом:

— Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле? Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

— Погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

— Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей,— но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту— по полу, по потолку, по стенам — заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

— Бо-о-м!— откуда-то сверху падает первый тяжелый удар ко-

локола и разгоняет маленькие испуганные звуки.— Бо-о-м!— падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

— Вот и я!— говорит о. Василий. Он весь белый и дрожит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные, глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

— Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает — тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая, и такая хитрая, как бес.

— Па-па!— кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

— Ну, что?.. Ну, успокойся.

— Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

— Па-па!

— Ну хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

— «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

— Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь — и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость — и жалость и жалость!..

— Бо-о-м!

— Ну, слушай же, сын. «Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело божие».

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипе-

ние, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

— Па-па! Па-па!

— Слушай, слушай. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать».— Доколе я в мире — я свет миру». Во веки веков, во веки веков!— посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики.— Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчится, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

— Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

— «Я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому — и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам» (что значит посланный). Он пошел и умылся и вернулся зрячим».

— Зрячим, Вася, зрячим!— грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

— Верую, господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину попа — и со страхом он обернулся.

— Ты что?— испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хохот:

— Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!

XI

Под троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубок березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налета-

ла на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах; ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирыч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого, красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы; он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

— Эх, брат, Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

— Скажи другой раз,— отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

— Гляди, соску уронишь!— предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощалась, и Семен решительно плюнул в нее.

— Ну, тут немного накопаешь. Разве там поковырять?— посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится»,— но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

— Как думаешь, не завалится?— спросил он обертываясь.

— А я почем знаю!— ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямою дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахнуло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать

что-нибудь смелое и веселое. Послюнявив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею,— что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями, да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу — во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного помертвелого лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему:

— Его работник — ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпою, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

— Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника — по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной

смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о. Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернея большими расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, поп снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху — догадался он, что сзади, в нескольких шагах кто-то следует за ним. Он оглянулся — кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленною поступью попа. Поп остановился — тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

— Кто это?— спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирыч, староста.

— Иван Порфирыч, это вы?— окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно; поп вышел — и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?»— с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на дол-

гую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого — об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками — такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе.

Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфирыч. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздоровался.

— Что это с вами, Иван Порфирыч? Вы нездоровы?— участливо спросил о. Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

— Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами хотел, батюшка.

— Это вы вчера?..

— Я-с. И третьего дня — тоже я. Извините. Я без всякого намерения...

Он тяжело передохнул, и снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

— Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. Боюсь.

— Чего же боитесь?— удивленно спросил поп.

Иван Порфирыч заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный, и выдохнул:

— Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

— Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу в щи зарезать, тогда и околеет. А это что же такое? Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадался. Извините.

— Ты про Семена?

— А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты вот что,— грубо заговорил староста, шалея от страха и злости,— ты эти дела оставь. Тут дураков нету. Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил:

— Живо!

— Да что ты? С ума спятил?

— Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, молюсь»,— прогундосил он по-церковному.— Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. Ан вот тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу — и услышал короткий и строгий приказ:

— Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирыч сверху взглянул на попа — и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная вода выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза — огромные, как стена, как алтарь, зияю-

щие, таинственные, повелительные — глядели на него,— и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза.

XII

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились, где пришлось — не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо; оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядели на его широкие, слегка обвиснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих бликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расползающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слыхали и думали и верили, что хоронят живого — как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали — и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный дьякон,— вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные цигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами — и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

— Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец — скажите-ка старосте.

— Смердит?— глухо спросил поп, не оборачиваясь.

— А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

— Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли и дубовый куст, качнувший резными листьями,— и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его величавой, мятежной душе.

— «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егда мир приоб-

рящем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищие. Тем же Христе боже преставльшегося раба твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темнело — буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

— «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва — вся персть, вся пепел, вся сень...»— дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник: так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, и пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства,— а оно не приходило.

— «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, не имущу вида. О чудесе! Что сие, еже о нас бысть таинство: како предахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи — когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это — раннее зимнее утро, когда один он оставался с богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств: замедлили, остановились, замерли —

мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти,— и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно — могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами — видит внизу испуганное лицо дьякона, предостерегающе приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви,— и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

— Не буду!— шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

— Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий!— растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает:— Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона — дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ощупью найдя дверцу, выходит.

— «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзи; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкутся люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит,— но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее — три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним

огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукою — так весел, так ликующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

— «Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего вмале с нами, предается бо гробу, каменем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и другов ныне разлучается. Его же...»

— Да остановись же, безумец!— прозвучал с амвона стонущий голос.— Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу:

— Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний смотрел на попа — и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благостной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

— Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками — и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях»,— быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

— Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откройтесь же!»— наклоняется ближе, ближе, хватается ру-

ками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни — и смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп!

Он молча отшатывается — и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за окнами темно, но не догадывается — почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга. Колокол и вьюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменною аркой бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

— Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку:

— Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость — чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним тобою, все для тебя. Один ты! Ну, явись же — я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа — один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, вьюга: их двое, их двое... Тишина.

— Не хочешь?— спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

— Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

— Ты! Проси его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

— Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут звать: отец. И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там — там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:

— Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро — и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами — и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит медленно высовывается из гроба — несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

— Назад!— кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос.— Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит:

— Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол — в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы — и ревет. С внезапно открывшеюся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и — чьи-то дрожащие, цепкие руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю — в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, снова бежит. Улица безлюдна, как ночью — ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!»— мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинные отростка, как три хищно загнутые когтя; сзади что-то глухо и грозно рокочет — в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь — и скачут, и скачут.

О. Василий упал в трех верстах от села, по середине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая, в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо — как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.



КРАСНЫЙ СМЕХ

Отрывки из найденной рукописи

ЧАСТЬ I

Отрывок первый


езумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге,— шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, может быть, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше,— как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза,— и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных шты-

ков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.

И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо — остановила меня. Так же торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие,— что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багровокрасна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он

лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

— Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас распадутся.

— Ты что? Ты лучше сядь,— говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза — и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены,— а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть,— но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

— Уходи!— кричу я, отступая.— Уходи!

И как будто он ждал только слова — он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать — куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу про-

светлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло — и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

Отрывок второй

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия,— остальные подбиты,— шесть человек прислуги и один офицер — я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих,— и мы, живые, бродили — как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были — как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно,— но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие, или слушал грохот,— все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате — и я их не вижу — находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы,— я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то краси-

выми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!»— но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног — и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг — капнул дождь. Дождь — как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал — плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало,— так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина — точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода,— вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше крас-

ки в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

— Вы боитесь?— спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх — и больше ничего.— Вы боитесь?— повторил я ласково.

Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно как лунатики...

Отрывок третий

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

Отрывок четвертый

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него,— и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он

уверяет, что было очень страшно, и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом — восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составил целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели — и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

— Красный смех,— сказал я.

Но он не понял.

— Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навылет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.

— И опять пулю в грудь?— спросил я.

— Ну вот: не каждый раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами,— лежал, похожий на мертвеца,

и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

— А матери послал телеграмму?— спросил я.

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

— Что же это такое, а? Что же это?— пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

— Что?

— Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество — разве ей втолкуешь, что такое отечество?

— Красный смех,— ответил я.

— Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова — седые. А ты...— Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал:— А ты полысел. Ты заметил?

— Тут нет зеркал.

— Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник — печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом — как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкли, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга — увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица — и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть,— были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмыслен-

ный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир — мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и непонятный.

— Где мы?— спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

— На войне,— ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

— Чего он хохочет?— возмутился кто-то.— Послушайте, перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

— А где же Ботик?

Ботик — так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.

— Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

— Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

— Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

— Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

— Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

— И мне! И мне!

— Лимон весь.

— Что же это, господа,— с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос.— А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз — и замолчал. Кто-то сказал:

— Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

— Оставьте! Какое там наступление!

— Вы же сами знаете...

— Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

— Как-то теперь дома?— неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все — до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена — и сразу замолчали, уступая непонятному.

— Дома?— закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить.— Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны — понимаете, ванны с водой — с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то паршь, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите — дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг,— вы говорите — дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу — мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

— Это черт знает что. Я пойду домой.

— Домой?

— Вы не понимаете, что такое дом!..

— Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик — и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали *это*. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те,

кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную, молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других — одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

Отрывок пятый

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

— Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

— Пять суток...— пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно поталкивая меня в бока и ноги.

— Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые...

— Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

— Голубчик, не сердитесь,— бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову.— Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет — он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли,— так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов — паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

— Что это?— спросил я, отступая.

— Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем,— бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

— Черт вас знает!— закричал я громко.— Не могли вы взять другого...

— Тише, пожалуйста, тише!— Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

— Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы взлезть — и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами — и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:

— На седьмой версте.

— А фонари забыли?

— Нет, он не пойдет.

— Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

— Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоумело поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

— Хорошо бы сейчас водки хлебнуть,— сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел — где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

— Это далеко. Верст за двадцать.

— Мне холодно,— сказал доктор, ляскнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным.

Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

— Много раненых?— спросил я.

Он махнул рукой.

— Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

— Настоящих?

— А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

— Перестаньте,— сказал я, отворачиваясь.

— Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное.

— Мне холодно,— сказал он и улыбнулся.

— Ну вас всех к черту!— закричал я, отходя в угол вагона.— Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был молодой, и когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

— Вам сколько лет?— спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

— Мне холодно.

— Когда я подумаю,— сказал студент, не оборачиваясь,— когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

— Раненый?

— Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

— Послушайте!— с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду — места нельзя было точно определить — приносился ровный, поскребывающий стон,

удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что это стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

— Пятая верста,— сказал машинист.

— Это оттуда,— показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

— Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

— Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслыханный стон, не имевший видимого источника,— как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу,— ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна — эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много — слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждою частицею своего существа.

— Что же это!— кричал доктор и грозил кому-то кулаком.— Вы — слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза — так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость от того, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

— Ну что?— И отвернулся.

Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видел нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

— Ты бы сел!— крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

— Я тебе в морду дам!— крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство.— Я тебе в морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал:

— Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

— Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел к стороне покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог вспомнить, где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

— А они спят,— сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспылил, точно упрек касался меня.

— Вы забываете, что они десять дней дрались как львы.

— А они спят,— повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал:

— Я вам скажу. Я вам скажу.

— Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль:

— Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

— Студент-то застрелился. Кажется, еще жив,— сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

— А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово,— он закричал сердито и угрожающе.— Я тоже! Да! И прошу вас — извольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

— Перестаньте,— сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови — должно быть, хватался руками.

— Ну?— сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

— Стойте!— крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков — это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое,— или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле — тонкий,

безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперед, взад и вперед...

Отрывок шестой

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались — под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и — я твердо помню это — мы все увидели, что это неприятель, и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив — жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши,— и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и — это удивительнее всего — чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих

пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие, вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненным в этом бою, отношение было вначале несколько странное,— нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-седые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

— Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.

— Что такое?

— Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

— Да, неладно,— вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма.— Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

— Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:

— Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:

— Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

— Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!

Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

— Так что же?— так же шепотом и испуганно спросил я.

— Ничего. Как здоровые!

— Красный смех,— сказал я.

— Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.

— Вы с ума сошли, доктор!

— Не больше, чем вы. Во всяком, случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

— А это вы понимаете?— таинственно спросил он.

Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

— А это вы можете объяснить?

— Раненые,— сказал я.— Раненые.

— Раненые,— как эхо, повторил он.— Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

— А это... вы также... понимаете?

— Перестаньте,— испуганно зашептал я.— А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:

— И никто этого не понимает.

— Вчера опять стреляли.

— И вчера стреляли. И третьего дня стреляли,— утвердительно мотнул он головой.

— Я хочу домой!— с тоскою сказал я.— Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:

— Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, а он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!

— Слушайте,— сказал доктор, глядя в сторону.— Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад — в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

— Я хочу домой!— кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:

— ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся как герои — всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле — я выйду в поле, я кликну клич — я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они.

И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

— Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов — мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха,— мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими — всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином,— какой веселый смех огласит вселенную!

— Красный смех!— закричал я, перебивая.— Спасите! Опять я слышу красный смех!

— Друзья!— продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням.— Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

Отрывок седьмой

...это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

Отрывок восьмой

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза — даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила — она очень славная и добрая женщина.

— Неужели все целы?— недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

— Одну разбили,— сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

— Чего ты?— спросил брат.

— Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. Потрудитесь для героя. Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну,— и я в шутку, конечно, запел: «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылен.

— Налейте-ка мне водицы отсюда,— весело приказал я.

— Ты же сейчас пил чай.

— Ничего, ничего, налейте. А ты,— сказал я жене,— возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

— Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно ложится спать?

— Он рад, что ты вернулся. Милый, пойди к отцу.

Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

— Отчего он плачет?— с недоумением спросил я и оглянулся кругом.— Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

— Мы не молчим.

И сестра повторила:

— Мы все время разговариваем.

— Я похлопочу об ужине,— сказала мать и торопливо вышла.

— Да, вы молчите,— с неожиданной уверенностью повторил я.— С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменился? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

— Сейчас я принесу,— ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него, и — я уже видел себя в вагоне, на вокзале — это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. И они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок,— так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

— Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

— Да. Ты мало изменился. Полысел немного.

— Поблагодари и за то, что голова осталась,— равнодушно ответил я.— Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня еще по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи — от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

— В нашем полку только четыре офицера осталось в живых,— угрюмо сказал я.— Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

— Хорошо, я возьму,— покорно согласился брат.— Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги — это, право...

— Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

— А отчего у тебя трясется голова?

— Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

— И руки тоже?

— Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали приготовлять постель — настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло,— а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

— А теперь раздень-ка меня и положи,— сказал я жене.— Как хорошо!

— Сейчас, милый.

— Поскорее!

— Сейчас, милый.

— Да что же ты?

— Сейчас, милый.

Она стояла за моею спиною, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

— Что же это!— И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

— Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

— Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, и хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад — перед свадьбой...

Отрывок девятый

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

— Сам посуди: ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике — давать сознание. Главное — сомнение. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий,— как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения,— но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны,— что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

— Красный смех,— весело сказал я, плескаясь.

— И я скажу тебе правду.— Брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее.— Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел,— объясни мне.

— Убирайся к черту!— шутливо ответил я, плескаясь.

— Вот и ты тоже,— печально сказал брат.— Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушу,— что это будет?

— Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

— Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

— Надеюсь,— улыбнулся я, плескаясь.

— Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

— Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

— Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого, и начнется убийство. И ты знаешь,— таинственно наклонился он к моему уху,— газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов,— у человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа,— тебе пора выходить из ванны.

— Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать — об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

— Го-го-го!— загрохотал я, плескаясь.

— Что с тобой?— испугался брат и побледнел.

— Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребенку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался — как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

— Куда уйти?— сказал он, пожав плечами.— Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я — как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают,— ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой,— это было участью всех тех, кто в безумии своем становится близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой — как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

— Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны,— легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

— А теперь надо работать,— серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок,— и, как лягушка, привязанная к нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевельнулся — я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти

пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком,— один, лишенный возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

— Это ничего,— громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего.— Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я могу мыслить — это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Мильтоне — и не мог.

— «Возвращенный рай», «Возвращенный рай»,— твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами — длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, но забыл, как ее зовут,— это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

— Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было — настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!»— подумал я, умиленный.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное — цветы и песни. Цветы и песни...

ЧАСТЬ II

Отрывок десятый

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию, окна весь день были завешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица — лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал, до восковой прозрачности трупа или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее — стариком. Иногда он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого, в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут, и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

— Конечно, я не рассчитываю на признание современников,— гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на груду пустых листков,— но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали, он один неутомимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решались подходить

к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пера, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще, все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вожглись в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме — в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна,— мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль — еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя,— мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

— Сейчас прекратите войну, или...

Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно — и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство — бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

Отрывок одиннадцатый

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рявкнула — рявкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша,— а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинною палкой. Но один шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться,— он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпою, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

— Кто этот, с глазами?— спросил я у конвойного.

— Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

— Как его зовут?

— Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приблудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!..— Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

Отрывок двенадцатый

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале,— пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть,— но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах зажигать огонь,— да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете,— так все-таки остается сомнение.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале — теперь я каждое утро хожу туда — и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело

на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно,— и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты — в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу:

— Их нужно вешать без суда,— сказал один, испытующе оглядев всех и меня.— Изменников нужно вешать, да.

— Без жалости,— подтвердил другой.— Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они сами плачут,— что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

Отрывок тринадцатый

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать,— красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалявшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под кон-

воем дисциплинированных солдат, они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиной шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала,— и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так,— чувствовались усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздробь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

— Куда вы их ведете?— спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

— Отойди!— сказал солдат.— Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал — легкой трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики...

Отрывок четырнадцатый

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у

всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые, крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны, и как я далек от выхода. Они спокойны, а если крикнуть — «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть,— привстать, обернуться назад и крикнуть:

— Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка,— а они не будут слышать ничего,— они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству,— а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство — спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой,— я выйду на сцену и скажу им со смехом:

— Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

— Тише! Вы мешаете слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

— Что такое?— спросил он недоверчиво.— Зачем так смотрите?

— Тише, умоляю вас,— прошептал я одними губами.— Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно

замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война,— там все было спокойно, и ночные желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?»— подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

— Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму — ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ — со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера; и когда ложусь в постель...

Отрывок пятнадцатый

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю; я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом — и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала,— и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие еще невинные дети превратились в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачною кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь — и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

— Я хочу к тебе,— сказал он.

— Ты убьешь меня.

— Я хочу к тебе,— сказал он и побледнел внезапно и страшно, и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью»,— с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слыхал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу.

— Я не могу!— простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

— Успокойся!— сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый.— Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты креп-

ко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

— Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

— Да, вижу. Она смеется.

— Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

— Она кричит.

— Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя.

— Мне тяжело, мне страшно.

— Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

— Тепло.

— Хорошо тебе?

— Я умираю.

— Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

Отрывок шестнадцатый

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла,— а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу,— а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов, и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков,— но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные трупы,— кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших — ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

— Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших!— говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как прежде, и что это мировое насилие над разумом не коснется их слабого умишка.

— Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба — закон жизни,— говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо:— Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и исступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

— Когда же кончится эта безумная бойня!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может, несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его родила: если бы он год провалялся

в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились,— но он молчит и слушает что-то — и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы,— и вдруг прекратились выстрелы,— и вдруг прекратилось «ура»,— и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит наступить минутной тишине — он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи,— и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто — не в военное платье,— занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных, усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара,— и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один,— подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

— Какой вы бледный, и под глазами круги,— сказала она ласково.— Вы больны? Вам жалко своего брата?

— Мне жалко всех. И я нездоров немного.

— Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

— За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата — только очень молоденькая.

— А мне,— она остановилась и покраснела, но не опустила глаз,— а мне позволите поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

— Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

— Я не верю.

— И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

— Ты знаешь,— сказала она,— я еду туда.

— Поезжай. Но ты не выдержишь.

— Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

— Да. А ты?

— Я буду помнить. Прощай!

— Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услыхал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твое перо не сухо — оно обмокнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми,— своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочел, это сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет, оно близко — оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

Отрывок семнадцатый

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

Отрывок восемнадцатый

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых; я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к

живому; мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти,— он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть,— и когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива,— не знаю, не слыхал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро — а оно плыло; он был убит — а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей — оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штемпелеванном конверте. И теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

«...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей — умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь — это так же хорошо, как играть в лаунтеннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир — в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага — вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду,— и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть — он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил

его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: маленький крик — и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на ..., чем на офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи,— брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне стало ясно, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

Нет, это правда. Несчастная земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою — приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всею силою моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаю вас, несчастные слабоумные звери!

Отрывок последний

...от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

— Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

— Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завыло; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье — и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза поли-

лась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав себе все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стукающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался,—а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода; его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам несся еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

— Ты откуда?— спросил он.

— Оттуда.

— А куда ты бежишь?

— Домой.

— А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал,— должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно»,— решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку — и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно,— подумал я.— Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходившую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были

окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

— Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!»— подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

— Кто тут?— шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову: она была горячая, как огонь.

«Пойду лучше туда,— подумал я.— Он все-таки свой».

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: черный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

— Брат!— сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица — и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

— Нет, это не от меня,— ответил он.— Посмотри в окно.

Я отдернул драпри и отшатнулся.

— Так вот что!— сказал я.

— Позови мою жену: она этого еще не видала,— приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила, и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась

так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо,— очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

— Их становится больше,— сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу.

— Это кажется,— сказала сестра.

— Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля посветлела от бледно-розовых тел, лежащих рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

— Смотрите, им не хватает места,— сказал брат.

Мать ответила:

— Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

— Они и в детской,— сказала няня.— Я видела.

— Нужно уйти,— сказала сестра.

— Да ведь нет прохода,— отозвался брат.— Смотрите.

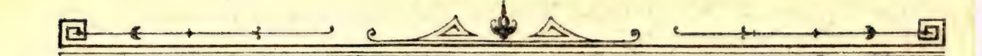
Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

— Они нас задушат!— сказал я.— Спасемтесь в окно.

— Туда нельзя!— крикнул брат.— Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.



ИВАН ИВАНОВИЧ

I



а Иване Ивановиче было новое пальто — совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет — марок и вообще не практичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то во всяком случае ясно чувствовалось, что он лучший изо всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городовых в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича,— как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

— Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиною и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

— Как фамилия?— спросил один. В руке у него был револьвер-браунинг.

— Товарищи!— сказал Иван Иванович.

— Ну-ну!— грозно окрикнул кто-то.

— Граждане,— поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

— Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

— Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

— Авдеев,— солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали,— ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах,— ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

— А револьвер-то?— сказал кто-то.— Забыли?

— Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

— Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте. Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется — селедку.

Но шашка была свеже отпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

— Вот так!

— Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

— Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

— Можно идти теперь?

— Что?!— удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

— Неужели?— нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылазили из-подо лба и дико таращились.

— Не сто́ит,— сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

— А по-моему, сто́ит. Всех их сто́ит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка, ты, пойдем, поговорим!

— Не сто́ит!— поддержали другие.— Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

— Делайте, как хотите,— равнодушно сказал он.

— Господи!— сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился.— Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

— Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно?— И он подмигнул Ивану Ивановичу.

— Как же это?— удивился тот.— В моем положении, и вдруг...

— Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем?— вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

— Нет уж, бог с ним!— отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся.— Я ведь собственно ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

— Мы вас не уговариваем...

— Да нет же, господи, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете,— а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Дорогою — нужно было пройти с четверть версты — он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу.

— Вот, говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда господь бог изгнал из рая Адама и Еву, кого он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

— Товарищ, вы слышите?— смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

— Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь,— он показал браунинг,— так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо от-

вернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

— Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами — и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей, и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

— Все поймут, товарищ, поверьте,— повторил молодой, и Петров кротко согласился:

— Может быть,— и шутливо крикнул околоточному:— Ну что, крючок, очухался?

— Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки,— обиженно ответил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил,— сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну, и нагородили!..

II

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады,— она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что́ нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал — и пошел жаловаться к Петрову.

— Не знаешь?— презрительно сказал тот.— Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

— Да у меня и пилы нет.

— Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но, наконец, нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

— А ты бы шинель-то снял,— посоветовал рабочий.— Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

— Боюсь, украдут,— сказал околоточный.

— Ну, вот!— удивился старик.— Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры...

— Рассказывай!— не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Пригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться: рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

— Смотри-ка,— сказал Иван Иванович,— и бабы тут. Тоже работают.

— А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

— Ну, и гадюка же ты!— удивился рабочий.— Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

— Граждане, а деретесь,— упавшим голосом возразил околоточный.

— Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти, у лавки, стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

— Ага!— сказал околоточный.

— Ты что?

— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

— Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны, как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех.

— Попробуй-ка, перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил гла-

за. «Привязался»,— подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

— Даже и смотреть нельзя, скажите, пожалуйста, какие цацы!

— Глаз-то у тебя нехороший,— серьезно заметил старик.— Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!

— Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иваныч совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое баррикада.

— Упри его концом сюда, так,— чтобы остряком оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову:

— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко отвечал:

— Убирайся вон.

— Как же это так?— пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то исподнизу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались,— сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду.— Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

— Я не виноват! Она... Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели

угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал — плюнул.

— Гуманность!— сказал он презрительно.

— Господин Петров! Господин Петров!— звал его околоточный.— Я ей сказал...

— Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

— Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят,— всех доставляйте сюда. Хорошо!

— Что хорошо?— спросил Петров.

— Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

— А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

— Послушайте, вы,— сказал он молодому,— как вы шашку нацепили? Разве так носят?

— А что?— спросил тот.

— А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

— Сойдет и так,— засмеялся молодой.— Сие не есть важно.

«Сие,— подумал Иван Иванович.— Вот еще дурак: сие»,— и с отвращением сплюнул.

— Куда вы меня ведете-то?— грубо спросил он.

Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

— Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

— Надо свернуть,— сказал один.

— Ничего, пройдем,— ответил молодой.

— Лучше свернуть,— поддержал другой и вынул револьвер.— А у вас есть револьвер, товарищ?

— Нет,— беззаботно ответил Василий. Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так»,— подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

— Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «этот самый!»,— вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

— Так как же?— сказал он, задыхаясь.— Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

— Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончилось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

— Так как же?— сказал офицер.— Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

— Стой! вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

— К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

— Не хочу.

— Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

— Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно-добродушные глаза и сказал:

— Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну, валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

— Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

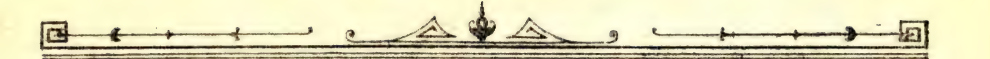
— А шашку-то вы взяли?

— Вот она!— весело ответил Иван Иванович.

— Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908 г.



РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

Посвящается Л. Н. Толстому

1. В час дня, ваше превосходительство



ак как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

— Постойте,— удивился министр,— откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

— Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности — как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасили, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной, и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он

становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек,— громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит — не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

— В час дня, ваше превосходительство!— звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

— В час дня, ваше превосходительство.

И этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

— Ну? Чего тебе надо?— сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

— В час дня, ваше превосходительство!— И черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони,— положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь,— открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

— Ого!— вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали,— и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит и не может уйти!

— Дураки!— сказал он презрительно и веско.

— Дураки!— повторил он громче и слегка повернул голову к

двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну, конечно,— думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью,— ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну, а потом, конечно, эта смерть,— но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: «В час дня, ваше превосходительство!»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения,— а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час дня самоубийства,— а перед самым концом вдруг передумал. И всегда, в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство»,— сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет — завтра этого не будет,— и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

— Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

— Ничего,— ответила тишина.— Ничего.

— Нет, ты говоришь что-то.

— Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый,

черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он,— они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь,— а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу — позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал — и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки,— их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей. Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К смертной казни через повешение

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую — нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных

бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время. На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали — коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие,— и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя — Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше — в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости,— но взглянул кругом и погас, как искра, на ко-

торую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее — и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, самым чистым и правдивым — ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем,— так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия — отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

— Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать — без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

— Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик,— думала она про Головина.— А Вася? Что же это, боже мой, боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь — еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем — была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и,

как ни странно,— это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощных растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

— Ничего, Вася. Кончится скоро все,— сказал Вернер.

— Да я, брат, ничего,— громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

— Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки,— наивно обругался Головин.

— Так и нужно было ожидать,— ответил Вернер спокойно.

— Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе,— сказала Ковальчук, утешая.— До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. Меня не надо вешать

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими неуверен-

ными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли, стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязав в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырьмя ногами, как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок,— осталось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался.

Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

— Она меня самого убьет,— сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

— Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками!

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнущие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми рес-

ницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами — как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

— Она сказала, что меня надо вешать.

— Какая-такая она?— густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

— Ты!

— Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

— Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

— Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

— Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правило, сказал ему вполголоса, уводя из залы:

— Ну и дурак же ты, парень.

— Меня не надо вешать,— упрямо повторил Янсон.

— Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

— Ну-ну, помалкивай!— сердито окрикнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил:— Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

— Может, помилуют?— сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

— Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже

весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть — с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

— Что, брат? Вот и повесили!

— А когда меня будут вешать?— недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

— Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

— Ну, а когда?— настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

— Когда, когда!— рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый.— Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз, и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

— А я не хочу!— вдруг весело сморщился Янсон.— Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы,— показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

— Тьфу, чтоб тебя!— отплюнулся он.— Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

— А я не хочу — га-га-га!— смеялся Янсон.

— Сатана!— сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что

уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного — и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу,— а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лукаво.

— Ну то-то!— сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

— Успеешь еще, сатана. Посиди!— и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнел и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила,— подумал он как-то про хозяйку.— Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось — выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы: и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил:

— Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

— Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

— Ты шутишь?

— То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается,— сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшаяся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медлительны и вялы,

словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумывать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

— Ага!— сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день.— Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни,— и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

— Видеться с кем будешь или нет?

— Зачем видеться?

— Ну, проститься. Мать, например, или брат.

— Меня не надо вешать,— тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя.— Я не хочу.

Надзиратель посмотрел — и молча махнул рукой.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела,— но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а

тупые углы в ней, и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь — глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза, и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине, с открытым ртом, и громко, заливисто храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем несравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты — и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или, тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления; и, прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

— Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует,— говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами.— Иван, слышишь? А, Иван?

— Меня не надо вешать,— тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

— А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили,— наставительно

сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах.— А то убить убил, а вешаться не хочешь.

— Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

— Я не хочу,— сказал Янсон.

— Что ж, милый, не хоти, дело твое,— равнодушно сказал старший.— Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился — все что-нибудь да есть.

— Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая — франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

— Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

— А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

— Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

— Я не хочу,— сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. Мы, орловские

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии Елецкого уезда Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал

подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

— Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

— Мы все, орловские, проломленные головы,— говорил он степенно и рассудительно.— Орел да Кромы — первые воры. Карачев да Ливны — всем ворам дивны. А Елец — так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

— Верно!

Иногда подчеркивал:

— Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя:

— Дозвольте засвистать!

— Это зачем?— удивился тот.

— А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза — и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество — все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

— Вот разбойник!— сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

— А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести, судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

— Верно!— сказал Цыганок, когда приговор был прочитан.— Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

— Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи — отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху — так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один — как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но не законченные образы, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух — ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно

облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

— Ишь запакостил!

Цыганок быстро возразил:

— Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

— Ай не находится? Ловко! Вот и повесь, поди, ха-ха! И шея есть и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!

— Жив останешься зато.

— Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал, дурак!

— Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

— А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

— Нет, с музыкой,— огрызнулся надзиратель.

— Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так!— И он запел что-то залихватское.

— Совсем ты, милый, порешился,— сказал надзиратель.— Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

— Какой скорый! Еще разок прийди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе, разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей — то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

— Ц-ах!— чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывал небегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цыганок говорил:

— Какой скорый. Еще разок зайди.

И, наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

— Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

— Ну и черт с тобой, вешай сам!— огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он както особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

— Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалейте... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается.

Потом вскочил — и целый час, не переводя духа, ругался поматерщине.

— У, такие-сякие, туда-та-та-та!— орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза.— Вешать так вешать, а не то... У, такиесякие...

И белый, как мел, солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

— Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал — его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь,

он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

— Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

— Об этом вам нечего беспокоиться,— сухо ответил чиновник.

— Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

— Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

— А то он у вас тут все мыло поел,— указал Цыганок на надзирателя,— ишь как рожа-то лоснится.

— Молчать!

— Уж не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

— Карету графа Бенгальского!

5. Поцелуй — и молчи

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день конфирмован. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видеться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе,— что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее, представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить — отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, и сказать: «Здравствуй,

отец»,— казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

— Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

— Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы — и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей,— а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну»,— твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как нужно держать себя на свидании.

— Главное, поцелуй — и молчи!— учил он.— Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь?— а то скажешь не то, что следует.

— Понимаю, Николай Сергеевич,— отвечала мать плача.

— И не плачь. Избавь тебя господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

— А зачем же ты сам плачешь?

— С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

— Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была масленая неделя и на улицах было шумно и людно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

— Посиди, Сереженька,— попросила мать.

— Сядь, Сергей,— подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

— Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

— Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

— Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

— А как сестра? Здорова?

— Ниночка ничего не знает,— поспешно ответила мать.

Но полковник строго остановил ее:

— Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали и....

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

— Се... Сер... Се... Се...— повторяла она, не сдвигая губ.— Се...

— Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

— Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

— Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку

и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

— Когда?

— Завтра утром,— такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

— Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

— Поцелуй ее от меня,— сказал Сергей.

— Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

— Какие Хвостовы? Ах, да!

Полковник перебил:

— Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

— Простись!— приказал полковник.— Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно:

— Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

— Прощай, Сергей!— сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

— Ты...— начал Сергей.

— Ну?— отрывисто спросил отец.

— Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу?— твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась.

— Ты...— опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи, сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

— Ты, отец, благородный человек.

— Что ты! Что ты!— испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей — пушистые белые волосы, а он — арестантский халат.

— А я?— вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

— Что ты, мать?— крикнул полковник.

— А я?— говорила она, качая головою, с безумной выразительностью.— Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

— Мамочка!— бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.

Последними словами полковника были:

— Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили — и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец — и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

К Василию Каширину пришла только мать — отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

— Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

— Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкою, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

— Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

— Ну, ну, хорошо. Что тебе — холодно?

— Холодно...— отрезал Василий и опять зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

— Может, простудился?

— Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины ставить», но испугалась и заголосила:

— Говорила я ему: ведь сын ведь, пойди, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

— Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

— Васенька, это про отца-то!— Старуха вся укоризненно вытянулась.

— Про отца.

— Про родного отца!

— Какой он мне родной отец.

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырастало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача — от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико таращило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

— Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

— А ты бы не трогал людей, тебя бы...— кричала старуха.

— Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

— Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

— Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

— Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горючее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями, и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос, и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

— Не могу. Ей же богу, не могу!— отказывалась она, мотая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса,— а ей все лили вино. Все лили.

6. Часы бегут

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный крик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили; на масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и

бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо— обрывалась — снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину,— уходил незаметно, чтобы снова, так же незаметно, прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. Смерти нет

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других,— ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не ока-

заться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть,— мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь — это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспомнила, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

— Подари его мне,— упрашивала она.

— Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее,— никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась,— как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти. А Муся была счастлива.

Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала — и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучатся, как жалеют,— и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника,

чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

— Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

— Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, может быть, то особенное, что она носит в душе — безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела,— убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника. Но если это так, если человек ценен не только по тому, что́ он сделал, а и по тому, что он хотел сделать,— тогда... тогда она достойна мученического венца.

«Неужели?— думает Муся стыдливо.— Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались, обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное, тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это — смерть. Какая же это смерть?»— думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет,— они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

— Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

— Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она,— она!— Муся ответила бы с улыбкой:

— Нет. Это вы думаете, что *это* — я, но *это* — не я. Я, та, с которой вы говорите, как же я могу быть *этим*?

— Но ты умрешь и станешь этим.

— Нет, я не умру.

— Тебя казнят. Вот петля.

— Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я — бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

— Не касайтесь этого места. Это место — свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она — ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах — и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался,— он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

— Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину,— вдруг отчаянно захотелось увидеть Сергея Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала — и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему:

— Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем неважно, убил ты NN или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше,—

Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном — как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыкою становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно, и лица их были ясны, и радостны, и близки — ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупиц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет — и стала отдаваться им спокойно.

И теперь — вдруг совершенно ясно и отчетливо она услыхала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову — за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять, значит!» — подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! — слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает впе-

ред — Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!»— думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.

— Ну, еще!— просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз — кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки,— а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густою кровью мозг, и вылезут из орбит остекленевшие глаза,— но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем. Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал — просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери — в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза — и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты — долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз — и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.

8. Есть и смерть, есть и жизнь

О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадост-

ностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик,— Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

— Или вы все ослы, или я осел,— говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

— Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один, как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

— А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

— Не хочется.

— Ну так я съем. Ладно?

— Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей, с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо — умереть»,— и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

— Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что

надо,—крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется — и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь?— подумал Сергей с удивлением.— Вот еще глупости!»

Боялся не он — боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений,— тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

— Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И, действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

— Я тебе покажу!— грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова — правда, не такой острый, не такой огневой, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго,— подумал Сергей,— хорошо бы все это время, до казни, проспать»,— и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь?— думал он о смерти.— Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень

жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание — и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание — и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть,— стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили — не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

— Фу ты, черт!— мучительно удивлялся Сергей.— Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою — вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого — не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере — странно, что ходит. Попробовал сидеть —странно, что сидит. Попробовал выпить воды — странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу!— подумал Сергей, холодея.— Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения — ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земля, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва — смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственною рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной,— но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не

было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страшно»— звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого бога,— увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

— Вот тебе и Мюллер!— вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал.— Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки — ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата — быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

— Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его раскраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

— Дело в том, Мюллер,— рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей,— дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем —Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь — приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

— Приходится, брат Мюллер.

9. Ужасное одиночество

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжко, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался

и что-то разыскивал глазами — словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут,— куда хотят. Он уже не выбирает места, его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Чтобы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь — его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык, и говорят, и не мог — казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях — и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме

один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкап, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкап, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают. Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его, и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке — просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это — кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были: «Всех скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих радость» — и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

— Наша жизнь... разве это жизнь! Ах, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: нá, бей!

Никому, даже самым близким товарищам он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней — так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку,— он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

— Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

— Всех скорбящих радость, прийди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко «Васькой Кашириным» — теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:

— Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

— Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья — молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжко наползало. Сознание погасало, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для

которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может,— и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит — пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

— Я не буду! Я не буду!— шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

— Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, покачался — и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

10. Стены падают

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми: одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить, как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить,— было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь

спокойное и все же жалкое человеческое лицо — вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же — только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел; но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое,— но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, не отторжимую свободу духа. И на суде — и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность,— он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности: потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками — даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку,— это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от

того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

— Нет, зачем же!— отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

— Ну?— ответил он кому-то полувопросом.— Вот и все. Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему — чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни — и как будто ее нет. Посмотрю на стены — как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки — невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове — наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последних года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом — перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту, и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

— Что это! Какое божественное зрелище!— медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего су-

щества. И, уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц покинутого городка, и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так,— ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым,— как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

— Милые вы мои!— вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее,— даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

— Милые товарищи мои!— шептал он и плакал горько.— Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы,— не знало и этого его вдруг воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

— Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке

никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера — ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

11. Их везут

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные, как лед, и горячие, как огонь,— и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись, и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или же слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной — не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

— Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

— Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

— Да я ничего. Я держусь.— И повторил:— Я держусь.

Вернер обрадовался.

— Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

— Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

— И я тебя очень люблю,— ответил, тяжело ворочаясь язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

— Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой.. светлый и мягкий? А, что?

— А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

— Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.

— Да,— сказала Муся.— Да, Вернер.

— Да,— ответил он.— Да, Муся, да!

Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

— Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

— Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он — гимнастикой занимается!

— По Мюллеру?— улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

— Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:

— Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

— Нет, ты пойми,— обрадовался Головин.— Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

— Ты, Муся, с ним,— показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

— Понимаю,— кивнула Муся головою.— А ты?

— Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное — просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом,— безграничною ширью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.

— У-ах!— широко вздрогнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

— Давно такая погода?— осведомился Вернер.— Совсем весна.

— Второй только день,— был предупредительный и вежливый ответ.— А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

— Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился:

— Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое — при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

— Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

— Кто вы?

— Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

— Я — Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть,— и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

— А что вы сделали, Янсон?

— Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

— Тебе страшно?— спросил Вернер.

— Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С-скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

— Куда мы едем?— спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

— Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

— Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

— Тоже!— неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

— Жена есть?— спросил Янсон.

— Нету. Какая там жена! Я один.

— Я тоже один. Одна,— поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась

действительность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

— Вот и приехали!— сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку — жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо — и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон — и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо,— а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

— Хоть бы поскорее!— сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

— Ты что говоришь?— спросил Вернер, отвечая также зевотой.

— Фонарь. Лампа в фонаре коптит,— сказал Сергей.

Вернер оглянулся; действительно, в фонаре сильно коптела лампа, и уже почернели вверху стекла.

— Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колена и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движение товарищей,— все делал, как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать,— Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

— Ай!

— Вася, что с тобою?— рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

— Я хотел их поддержать, а они...

— Пойдем, Вася, я поддержу тебя,— сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

— Ай!

— Вася, это я, Вернер.

— Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия:

— Ну как?

— Плохо,— так же тихо ответила Муся.— Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

— Не знаю, Муся, но думаю, что нет,— ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

— Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

— Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

— Была, Вернер? Была?

— Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

— Тут местов нету, жандарм!— крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму.— Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети,— разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

— А! Господа!— протянул он.— Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

— Тоже? А?

— Тоже!— улыбнулся Вернер.

— Да неужто всех?

— Всех.

— Ого!— оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

— Министра?

— Министра. А ты?

— Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

— Так-то барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

— Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

— Верно,— с удовольствием согласился Цыганок.— Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то,— ткнул он пальцем на молчаливого жандарма.— Э, а вон энтот-то ваш того, не хуже нашего,— указал он глазами на Василия.— Барин, а барин, боишься, а?

— Ничего,— ответил туго ворочающийся язык.

— Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрестанно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер.

— Хозяина зарезал.

— Господи!— удивился Цыганок.— И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо установился на нее.

— Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется,— схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами.— Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза. Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик — машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежа-

ли вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда — «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть — вечность — великая тайна.

12. Их привезли

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой — запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

— Теперь скоро,— сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

— Холодно,— сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

— На платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

— Шею?— неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса. Но так как и все подумали то же, то никто его не слыхал,— как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

— Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет,— посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

— Милый, а тебе не холодно, а?

— Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить?— спросила Муся.— У нас есть.

— Хочу!

— Дай ему папиросу, Сережа,— обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

— Ну, спасибо,— сказал Янсон.— Хорошо.

— Как странно!— сказал Сергей.

— Что странно?— обернулся Вернер.— Что странно?

— Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал

дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

— Потухла,— сказала Таня.

— Да, потухла.

— Ну и к черту!— сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

— Барин, а что, если бы конвойных того... а? Попробовать?

— Не надо,— так же шепотом ответил Вернер.— Выпей до конца.

— А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

— Нет, не надо,— сказал Вернер и обернулся к Янсону:— Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалобно сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом.

— Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

— Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

— Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное,— сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

— Станция!— сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно — кричало в ужасе своим кровавополным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса — скользили — опять вертелись — и вдруг стали. Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо

и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

— Разве пешком?— спросил кто-то почти весело.

— Тут недалеко,— ответил другой кто-то так же весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпой шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

— Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

— Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

«Действительно, не могли дороги прочистить».

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все — и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

— Скоро четыре.

— Говорил: рано выезжаем.

— Светает в пять.

— Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

— Калошу потерял,— сказал Сергей Головин.

— Ну?— не понял Вернер.

— Калошу потерял. Холодно.

— А где Василий?

— Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

— А где Муся?

— Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

— Море,— сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух.— Там море.

Муся звучно отозвалась:

— Мою любовь, широкую, как море!

— Ты что, Муся?

— Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

— Мою любовь, широкую, как море,— подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

— Мою любовь, широкую, как море...— повторил Вернер и вдруг весело удивился:— Муська! как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

— Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

— Надо проститься...— сказала Таня Ковальчук.

— Погоди, еще приговор будут читать,— ответил Вернер.— А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

— Ну что там, доктор? Вы скоро?— спросил кто-то нетерпеливо.

— Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

— Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

— Не читать,— за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

— Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами.

— Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

— Хорошо.

— Мы с тобою, Мусечка?— спросила Ковальчук.— Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым ртом,— впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

— Прощайте, товарищи!

— Прощай, товарищ!— крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума,— но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

— Ах, боже мой!— дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок.— Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

— Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами:

— Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

— Не могу, милый. Я с ним.

— Ах ты, боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

— Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:

— С тобою?

— Да.

— Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

— Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

— Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс — и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

— Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

— Куда ты?— испуганно шепнул другой.— Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

— Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму!— грозно сказал Цыганок.— Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступила очередь Вернера и Янсона.

— Прощай, барин!— громко сказал Цыганок.— На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси — жарко мне там будет.

— Прощай.

— Я не хочу,— сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было — он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос. И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

— А я, значит, Мусечка, одна,— печально сказала Таня Ковальчук.— Вместе жили, и вот...

— Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

— Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника... понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с ней я как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

— Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

— Поцелуйтесь, поцелуйтесь,— поощрительно сказал женщинам Цыганок.— Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

— Одна я,— вдруг заговорила Таня и вздохнула.— Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной — плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

1908 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Николаевич Андреев

ИЗБРАННОЕ

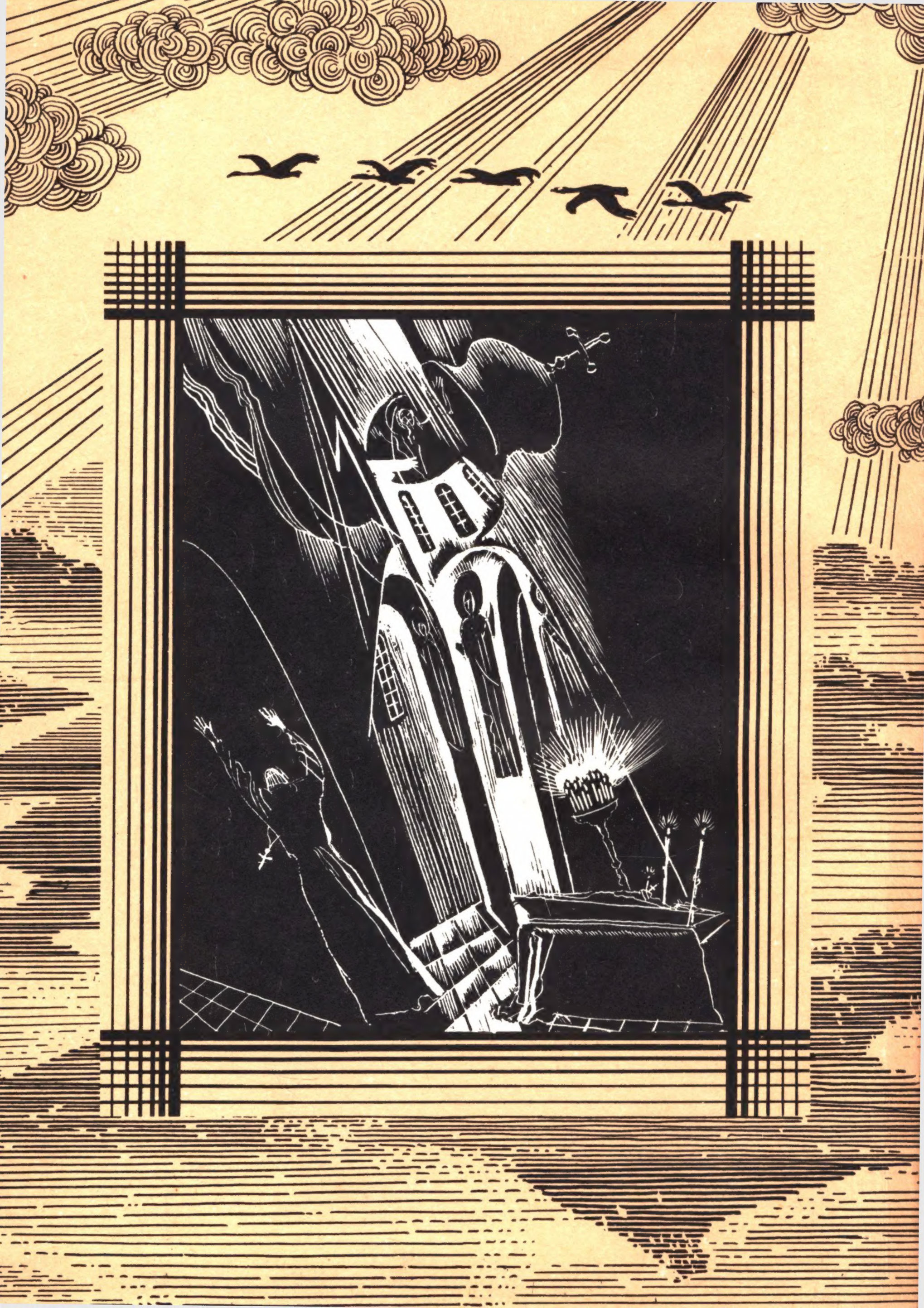
Редактор *А. М. Иорданский*
Худож. редактор *В. З. Вешапури*
Техн. редактор *Р. А. Щепетова*
Корректор *Н. Ю. Махалова*

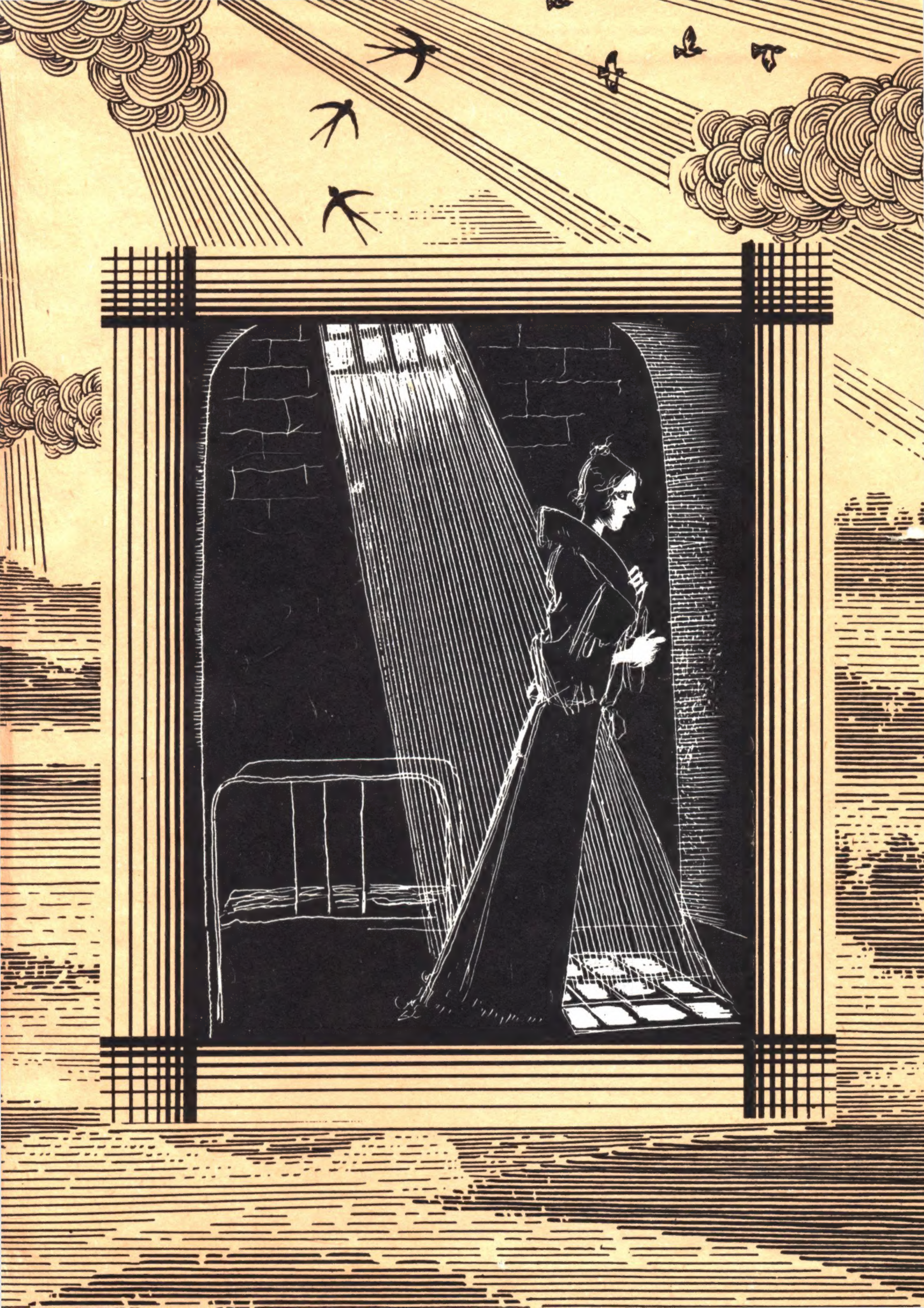
ИБ № 1479

Сдано в набор 26.10.83. Подписано к печати 10.05.84.
Формат $60\times84^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл.-печ. л. 18,6. Уч.-изд. л. 21,19. Усл.-кр. отт. 19,54.
Тираж 120 000 экз. Заказ № 4873. Цена 1 р. 90 к.

Волго-Вятское книжное издательство, 603019, г. Горький, Кремль, 4-й корпус.

Типография издательства «Горьковская правда», 603006, г. Горький, ГСП-123, ул. Фигнер, 32.





1 р. 90 к.


ЛЕОНИД АНДРЕЕВ ИЗБРАННОЕ